



Ирина
ТОСУНЯН

Я!
Помню!
Чудное!
Мгновенье!..

Вместо
мемуаров



Ирина
Тосунян
1982

Ирина Тосунян

**Я! Помню! Чудное!
Мгновенье!.. Вместо мемуаров**

«Алетейя»

Тосунян И. С.

Я! Помню! Чудное! Мгновенье!.. Вместо мемуаров /
И. С. Тосунян — «Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-80-5

Разговор о литературе, музыке, живописи, театре со знаменитыми собеседниками. Герои книги – Вениамин Каверин, Венедикт Ерофеев, Юрий Левитанский, Сергей Аверинцев, Арсений и Андрей Тарковские, Лидия Чуковская, Тамара Иванова, Юрий Нагибин, Борис Хазанов, Владимир Дудинцев, Лидия Григорьева, Юрий Карабчиевский, Семен Липкин, Тонино Гуэрра, Вера Кальман, Давид Тухманов, Константин Райкин, Александр Есенин-Вольпин, Александр Волков, Владимир Витковский и многие другие... В книге использованы работы фотокорреспондентов «ЛГ» Владимира Богданова, Александра Карзанова и других авторов, на обложке и шмуцтитулах – рисунки художника Владимира Витковского.

ISBN 978-5-907189-80-5

© Тосунян И. С.
© Алетейя

Содержание

Вместо мемуаров	5
Часть первая	7
Вениамин Каверин:	9
Тамара Иванова:	16
Николай Анненков:	20
Семен Липкин:	24
Лидия Чуковская.	30
Арсений Тарковский.	34
Тонино Гуэрра:	38
Сергей Голицын.	42
Владимир Дудинцев:	48
Валентина Мухина–Петринская.	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Тосунян И. С. Я! Помню! Чудное! Мгновенье!.. Вместо мемуаров

Вместо мемуаров

*Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь...*

Марина Цветаева

Когда Лидии Корнеевне Чуковской исполнилось 13 лет, ее отец, Корней Иванович Чуковский, подарил дочери толстую тетрадь – чтобы вести дневник, – и сказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на твоих глазах. Не рассчитывай на кого – то, кто будет читать, а пиши для себя». И она писала: события, разговоры, факты. Всю свою жизнь. Эти «дневники» стали основой ее литературного творчества, и именно из них потом сложится самая знаменитая ее книга – четырехтомные «Записки об Анне Ахматовой».

Когда меня приняли на работу в редакцию «Литературной Газеты» (газета была тогда на пике популярности и славы), под расписку выдали небольшой, но тяжелый кирпичик диктофона Sony в черном кожаном футляре, три кассеты к нему – для интервью, и велели хранить их как зеницу. Рукописный «дневник» журналистам был уже без надобности, магнитофонная лента сама дотошно сохраняла все детали бесед и интервью, которые полагалось вести по долгу службы. А чувства? Они, поверьте, были в записи «слышны» и превосходнейшим образом ощущались и сегодня ощущаются.

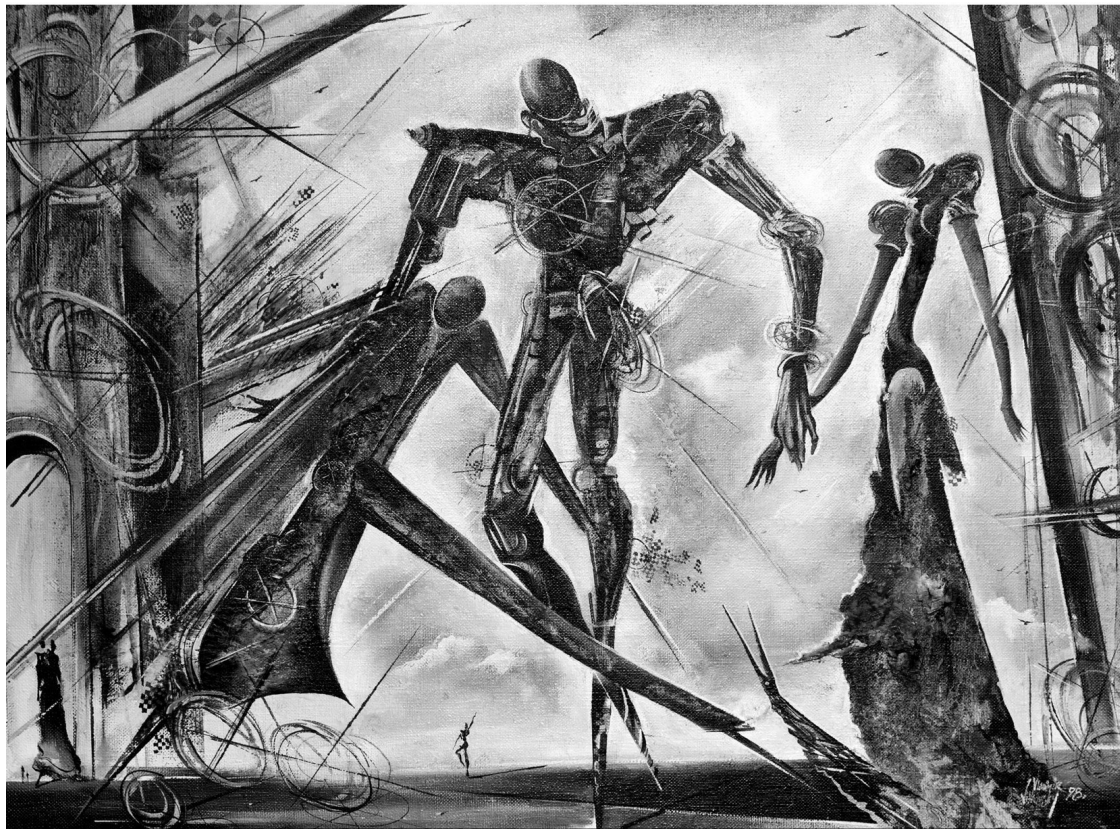
Следующий диктофон, маленький, с миниатюрными кассетами к нему, я купила уже сама. А когда кассет и мини – кассеток скопилась целая гора и пришло время цифровых технологий и фейсбуковских просторов, мой новый диктофон уместился уже не на ладошке, а на двух пальцах руки... Я завела в социальной сети рубрику «В среде поэтов и эстетов», где стала вспоминать поэтов и прозаиков, современников, которых знаю или знала лично. Со временем «воспоминания – интервью» разрослись, расцвелились (из собственного архива) эстетами всех мастей – сценаристами, художниками, музыкантами, режиссерами, актерами...) стали, что называется, жить своей собственной жизнью и своей драматургией. И вылились в книгу, которую вы сейчас открыли, и которая заполнена разговорами и текстами, сделанными на основе бесед с моими знаменитыми современниками. Первая запись датируется 1988 годом, последняя – год 2017 – й.

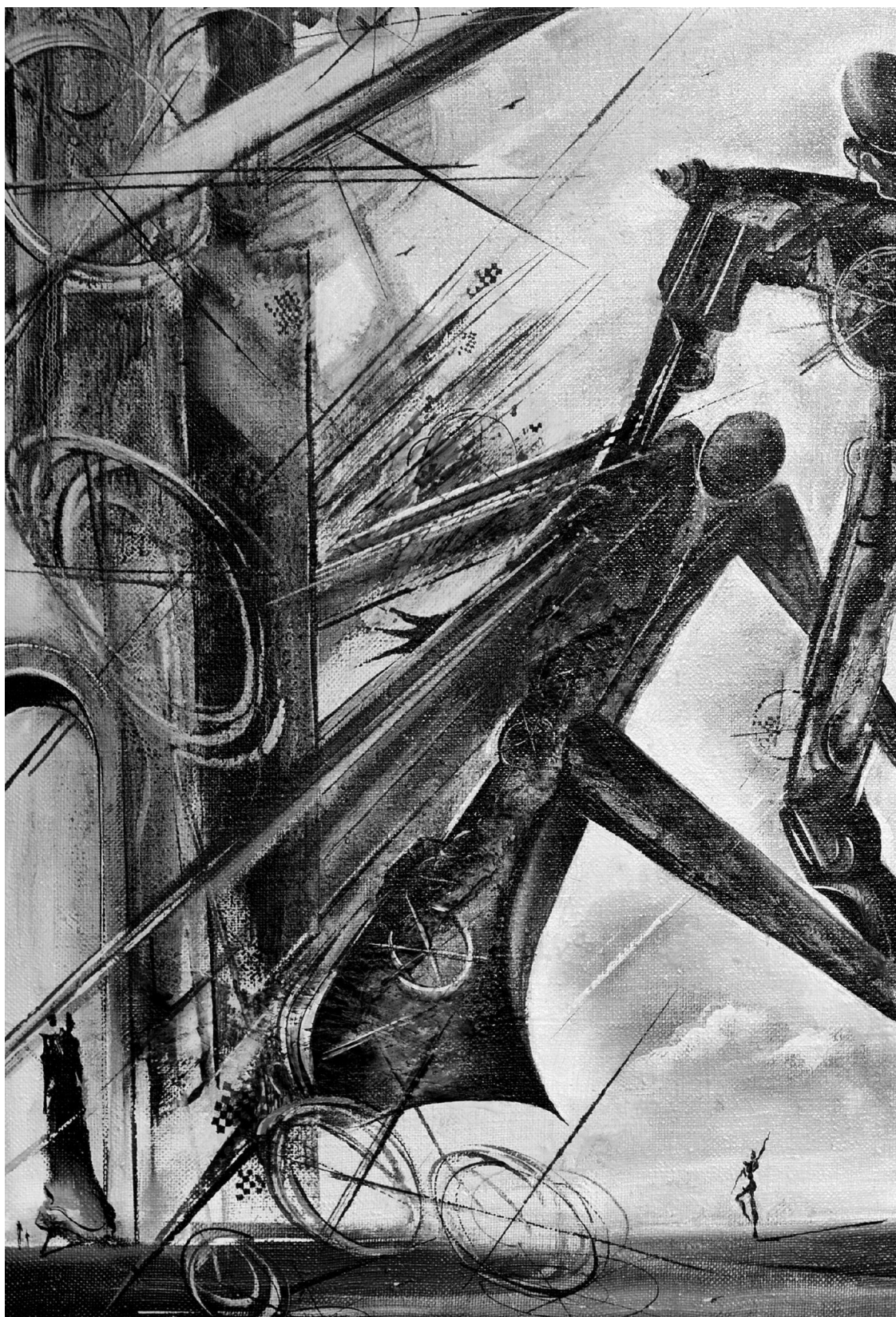
Вениамин Каверин, Венедикт Ерофеев, Юрий Левитанский, Сергей Аверинцев, Арсений и Андрей Тарковские, Лидия Чуковская, Елена Чуковская, Тамара Иванова, Юрий Нагибин, Борис Хазанов, Владимир Дудинцев, Лидия Григорьева, Юрий Карабчиевский, Семен Липкин, Тонино Гуэрра, Вера Кальман, Давид Тухманов, Константин Райкин, Александр Есенин – Вольпин, Александр Волков и многие другие... К каждой беседе я тщательно и увлеченно готовилась, перебирала все доступные источники, делала выписки, волновалась, радовалась, огорчалась. Это была увлекательная жизнь. Их жизнь. И моя жизнь.

А чтобы читателю было легче ориентироваться, условно разделила книгу на три части – соответственно годам рождения моих собеседников. «Часть Первая» – поколение тех, кто родился в эпоху модерна и Серебряного века. «Часть Вторая» – 20 лет спустя, то есть тридцатые и сороковые – одинаково роковые годы двадцатого столетия. Для третьего раздела взяла

строку из романа в стихах «Круг общения. Житейская хроника» поэта Лидии Григорьевой:
«И выросли они, войны не зная».

Часть первая Ровесники эпохи модерна и Серебряного века





Вениамин Каверин: «Уже написана первая фраза...»

К Каверину я приехала в самом начале мая 1988 года. Снег в Переделкино уже растаял, но утро было неприветливое, пасмурное. Дверь открыла пожилая и тоже хмурая домохозяйка со страшным вывернутым веком (это веко, признаюсь, поначалу изрядно меня испугало). А Вениамин Александрович – маленький, худой, с трудом поутру передвигающийся, – наоборот был приветлив, охоч до разговоров и, в противовес нехолодной погоде и хорошо натопленному дому, плотно упакован в дубленку, шапку и валенки. Писатель только встал и собирался завтракать. Домохозяйка внесла поднос с чаем и сладостями. Расчистила краешек длинного обеденного стола, заваленного книгами, журналами, бумагами, расстелила салфетку... Поставила стакан с чаем и для меня. Я тут же примостила на освободившемся пятачке, отвоёванном у бумаг, увесистый «кирпичик» диктофона Sony – последнее достижение техники конца восьмидесятых...

– А Вы знаете, – начал разговор Каверин, – каждое утро я встаю с желанием кинуться к письменному столу, написать хотя бы несколько строк...

Я застыла: это была прямая цитата из его романа «Двухчасовая прогулка», проштудированного мной как раз накануне приезда к мэтру. «Проверяет меня? Зачем?», – в смятении подумала я и вспомнила, как кто – то из «добрых» коллег «порадовал»: «живой классик», к которому меня отправили «беседовать», имеет обыкновение говорить резкие вещи с наивным видом. И тогда, затравленно оглядев стол, я обнаружила спасительный «рояль в кустах», тот самый, только – только вышедший в свет роман, ухватила, открыла на последней странице эпилог и громко, с выражением зачитала:

– Ты написал сказку, – говорит ему один из друзей. И автор задумывается. Может быть, он всю жизнь пишет сказки? Задумчиво бродит он по комнатам. Вот это, кажется, удалось, а это – нет. Скуповато построен дом, мало света, надо бы сделать окна пошире.

И ему <...> начинает мерещиться, что за главным он не разглядел самого главного. Что значительные подробности пробежали рядом с ним и догнать их, оценить их так и не удалось <...>. Историями по – прежнему набит белый свет. Они совершаются открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные – стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них <...>. И вот начинается строгий отбор, вспоминается собственная жизнь, обдумываются отношения. Еще не найдена таинственная связь, которая, может быть, заставит читателя листать страницу за страницей. Белый лист лежит на его столе и на нем – никуда не денешься – уже написана первая фраза...

Я читала, а Каверин смотрел на меня хитрыми смеющимися глазами экзаменатора и аппетитно хрумкал печеньем. Наконец до меня дошло: все, сказанное им и зачитанное мной, для него вовсе не откровение, а состояние, естественное состояние писателя, прожившего в литературе к моменту нашего разговора 67 лет и относящегося к ней сегодня так же, как в ту далекую пору 1921 года, когда под впечатлением первой встречи с Горьким он дал себе клятву посвятить жизнь литературе.

– Вениамин Александрович, – я тоже улыбаюсь (облегченно!), – одно только перечисление уже написанного Вами вызывает трепет и займет много страниц машинописного текста: романы, повести, публицистика, мемуарная литература... Вот книга «Литератор», я прочла ее, не отрываясь, и мне кажется, Ваши опасения «Я много раз начинал эту книгу и откладывал в сторону, потому что мне казалось, что мои письма и многие страницы дневника, связанные с прошедшим, а подчас – и давно прошедшим временем так устарели, что их все равно никто не будет читать», – совершенно излишни. Едва появившись на прилавках магазинов (я сама еле успела купить), книга мгновенно разошлась. Воспоминания о Тынянове, Горьком, Чуков-

ском, Шкловском, Мейерхольде, Таирове... Блестящие имена, интереснейшие художники. Нет только имени Мандельштама. Вот о чем, лично мне, хотелось бы прочитать в первую очередь. В прошлом, 1987 году в ЦДЛ состоялся первый, самый первый вечер памяти Мандельштама, где звучал его чудом сохранный голос – он читал свои стихи «Я по лесенке приставной...», – и где в числе выступавших с воспоминаниями о поэте были Вы. Ваш рассказ о встречах с Мандельштамом показался мне тогда очень интересным, но нигде этого пока нет...

– Я знал Мандельштама, к сожалению, недостаточно хорошо, и хотя встречаться нам приходилось часто, не был с ним так близок, как Ахматова или Тынянов. Мандельштам ведь был странник, не имевший даже постоянного пристанища. Отчаянно смелый, решительный и чрезвычайно взыскательный к самому себе человек. Я был свидетелем того, как он публиковал свои вещи, и могу сказать, что, пожалуй, не знаю другого так заботливо относящегося к каждому своему слову писателя.

Именно Мандельштам произнес суровый приговор моим юношеским попыткам писать стихи. В 1920 году я считал себя если не выдающимся, то по меньшей мере значительным поэтом. Юрий Тынянов, которому я свои стихи прочел, сказал: «В тебе что – то есть» и посоветовал писать прозу. Над этим «что – то» я впоследствии размышлял много лет. А тогда... гордясь сложностью своих стихов, пошел к Виктору Шкловскому. Шкловский жил в Доме искусств в бывшей спальне Елисеева, умело оборудованной гимнастическими снарядами. Крутя ногами педали неподвижного велосипеда, он выслушал мои стихи и сказал: «Это элементарно». Его жена, чтобы утешить меня, положила лишнюю крупинку сахара в мой стакан чая.

Но я не утешился, я отправился к Мандельштаму, чтобы услышать буквально следующее: «От таких, как Вы, надо защищать русскую поэзию». С тех пор я уж стихов не писал. Эта встреча с Мандельштамом запомнилась особенно. Он принял меня как невоспитанного человека, который, не снимая шапки, осмелился войти в храм. Сам поэт Осип Мандельштам был далек от визуальности, от вещности. Казалось, что его стихи состоят не из слов, а из оттенков слов, а его задача – создание новых смыслов. Тынянов считал, что свой музыкальный стих он принес из девятнадцатого века, и в этом смысле был, как мне кажется, близок своему единственному последователю, поэту Константину Вагинову, забытому в наше время, но такому сильному и оригинальному, что его поэзия, несомненно, будет оценена, и, может быть, очень скоро. Еще Мандельштам писал грустно – остроумную прозу, и как прозаик, очевидно, не был уверен в себе, потому что, уже сдав в журнал «Звезда» автобиографическую повесть «Египетская марка», трижды брал обратно рукопись, чтобы внести новые и новые исправления. Эти его произведения настолько чужды самому понятию «проза, что подчас кажется, Мандельштам сознательно и с чувством гордости настаивает на жанре «не проза».

– Вы хотите сказать, именно это обостренное чувство гордости, взыскательность к себе и другим причина его гибели?..

– Не так давно ко мне на дачу в Переделкино позвонили из следственных органов и спросили, могу ли я принять следователя, занимающегося делом Мандельштама в связи с его предстоящей реабилитацией? Я его охотно принял. Это был очень интеллигентный, любящий и знающий литературу человек. Он долго и подробно расспрашивал меня о моем знакомстве с Мандельштамом, а потом рассказал, что, в сохранившемся в архивах следственном деле поэта указано, что он высылается на три года в Чердынь за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», оскорбляющее Сталина. «Для меня, – сказал следователь, – уже многое ясно. Не ясно, правда, почему Мандельштам был так мягко по тем временам наказан». Я высказал предположение, что Сталин, привыкший к восхвалениям, был, вероятно, ошеломлен прямоотой Мандельштама. Что, кстати, подтверждает и его телефонный разговор по поводу этого стихотворения с Пастернаком. Но, добавил я, – это только мои предположения.

– Скажите, а кто такой Павленко? – спросил следователь.

– Как, – изумился я, – Вы не знаете Павленко? В свое время это был один из самых влиятельных руководителей Союза писателей. У него даже прозвище было – «Правленко». Сегодня его имя забыто, ничего стоящего он не создал, так, несколько повестей и рассказов.

– Так вот этот самый Павленко – Правленко, – махнул рукой мой гость, – в НКВД черт знает что написал... А первый раз, когда Мандельштама арестовали, даже тайно присутствовал на допросе – сидел в шкафу, в комнате, где «работали» с поэтом и слушал, что и как тот говорит ...

Оказалось, о причинах второго ареста и приговора, вследствие которого поэт был отправлен в лагерь, в деле не оказалось ни слова. Только показания самого Мандельштама, признавшего, что именно он – автор стихотворения. А единственным свидетельством, совпадающим по датам с арестом и высылкой, было письмо Павленко (сочиненное вместе с главным редактором «Нового мира» В.П. Ставским – *И.Т.*), где тот, по словам моего гостя, беспощадно громил творчество Мандельштама. И это письмо в НКВД, о котором, видимо, доложили Сталину, поэта и погубило. Мнение Павленко, именитого в ту пору литератора, без сомнения, повлияло на решение расправиться с Мандельштамом без предъявления каких – либо обвинений. (Весь этот кусок – о Павленко – в процессе подготовки материала в печать в «Литературной Газете» вырубили из текста. «Рубил» сам первый заместитель главного редактора, заявивший: «В Переделкино главная улица названа именем Павленко, и что теперь, в угоду вам с Каверинным прикажешь ее переименовать?». Но диктофонная – то запись у меня осталась, ее ведь ни росчерком пера, ни топором не вырubiшь! – *И.Т.*).

Мандельштам не сразу погиб. Его просто поставили в условия, которые не давали ни малейшей возможности существовать, и Осип умер (мне Ю.Г. Оксман рассказывал) от голода, копясь в куче отбросов...

Я помню, как Тынянов (тогда он еще мог ходить) добрался до сквера перед Казанским собором и не заметил, как к нему подошла Ахматова. Не поздоровалась, хотя любила его и была с ним в дружеских отношениях, лишь сказала: «Осип умер». И ушла. Она не в состоянии была говорить о смерти Мандельштама с человеком, у которого, может быть, не хватило бы душевных сил, чтобы без слез перенести эту страшную для нашей литературы весть.

– «Горька судьба поэтов всех племен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию...», – эти слова В. Кюхельбекера – эпиграф Вашей повести «Силуэт на стекле», – как бы мостик, который я перекину к следующему вопросу. Повесть посвящена молодому томскому писателю Михаилу Орлову, его трагической судьбе. Имя Орлова впервые прозвучало из ваших уст, в писательских кругах его никто не знал.

– Года четыре назад ко мне явился молодой, плохо одетый и на вид очень несчастливый человек. А прочитав его рукописи, я понял, что передо мной талантливый и в полном смысле слова непризнанный писатель.

Главная мысль, объединяющая повести и рассказы Михаила Орлова, скорее даже, образ мыслей, который диктовал ему поведение в литературе, был не похож на принятый вообще образ мыслей и манеру поведения. С юных лет влюбленный в русскую литературу, он повторил классические традиции – широко раздвинул ее тематические масштабы и сделал это с умом и тактом. У Орлова было много рассказов – например, о Бисмарке, о Наполеоне, о влюбленном китайце, – которые, не имея прямого отношения к нашей действительности, тем не менее были связаны с ней своим нравственным фоном, своим, я бы сказал, нравственно – поэтическим направлением. Он видел перед собой великие примеры – «Египетские ночи», «Моцарт и Сальери» Пушкина, то есть вещи, которые тоже прямого отношения к русской действительности не имеют, но имеют высокую нравственную цель. Об этом Орлов думал, когда писал в своей «Апологии» (я привожу ее в повести «Силуэт на стекле»), о том, что мы напрасно ограничиваем себя только русским материалом. Литература – держава, которая имеет возможность и должна пользоваться всем, что уже сделано и что составляет гордость литератур раз-

ных народов. Мы ведь не на каком – то острове находимся, отделенном от всей литературы, мы входим в эту мировую державу.

Я практически не помню ни одного значительного произведения, построенного на «иностранинском материале», скажем, о борьбе против фашизма в Германии или об Испанской республике, которую мы защищали.

Орлов эту неестественность прекрасно ощущал, он мыслил широко, и это было ново, хотя, в сущности, должно было быть традиционным. Что сказать, например, о романе Тургенева «Дым», где действие происходит вовсе не в России?.. К сожалению, связь между русским и другими народами, освещение которой – историческое и современное – нам так необходимо, занимает мало места в нашей литературе.

Я говорю о Михаиле Орлове «был», «писал», потому что через три года после нашей встречи, всего 36 лет от роду он умер от тяжелой болезни. В дни нашего знакомства я, как мог, помогал ему, устроил несколько его рассказов в «Смену», стал хлопотать о сборнике рассказов в только что созданном тогда Томском издательстве...

Грустная история. Сборник так и не увидел свет. Директор издательства, человек, скажем так, нерешительный, произведения Орлова ее напугали, может быть, своей формой, может, чем – то еще, не знаю. Но она направила рукопись на консультацию в Госкомиздат. Там ее «отрецензировали», а в сущности, ничего в ней не поняв, буквально разгромили... Вот тогда за покойного писателя вступилась Томская писательская организация, была создана комиссия, один из ее членов, поразивший меня своей образованностью, написал первоклассную, очень четкую и обоснованную рецензию в защиту сборника. И комиссия добилась, чтобы местное издательство не отказывалось от рукописи. Она была послана в соответствующий отдел обкома партии, откуда был получен прекрасный отзыв...

А решения как не было, так и нет, издательство по – прежнему колебалось. Вот таков короткий рассказ о судьбе талантливой рукописи и ее автора.

– Почти все экранизации своих книг Вы считаете в той или иной степени неудачными и с неохотой соглашаетесь на новые. А вот «Силуэт на стекле», названный повестью, написан скорее в жанре кинопрозы. В расчете на экранизацию?

– Нет, я никогда не думаю об экранизации, тем более, как Вы правильно заметили, не раз терпел неудачи в этой области. Лев Толстой когда – то говорил, что для русской литературы вообще не свойственна определенность жанра. Подтверждая эту мысль, можно привести бесчисленное множество примеров. С каждым годом все больше стирается граница между романом и повестью, с одной стороны, и между мемуарами и художественной прозой – с другой. Выход за границы эстетических канонов становится не исключением, а правилом.

Но то, о чем говорите Вы, относится к визуальной части повести. Это совершенно верно, написаны картины, связанные одним сюжетом. Причем я имею в виду не голую фабулу, а сюжет, развитие действия в известной атмосфере, связанное стилистически и построенное на материале, который может заинтересовать и литератора, и любого читателя.

– Что же поразило Вас в судьбе Михаила Орлова?

– Почему я решил написать именно это произведение? Должен сказать, что меня всегда интересовали молодые талантливые неудачники, к тому же жизнь Орлова прошла под знаком правды и ответственности, без которых не может существовать подлинное искусство. Трагическая судьба его не кажется мне случайной.

Повесть я писал сравнительно недолго, показал друзьям, в частности В. Лакшину, который дал ряд дельных советов. Два раза ее переписывал и, наконец, отдал в журнал «Знамя», где пролежав два года, она была опубликована.

– Что же, и эта Ваша вещь направлена на то, чтобы, как заметил один критик, «исправлять нравы»?

– Хотел этого или не хотел, все равно я буду учить нравственности. Я когда – то писал, что в России литература всегда была делом личным, что каждая серьезная книга как бы превращалась в письмо, обращенное к личности читателя. Русская литература не может и не хочет уходить от вопросов нравственности. Лев Толстой, например, с современной точки зрения, писал агитационные романы. Ну что такое «Воскресенье»? —

– Роман, агитирующий за нравственное отношение к женщине?..

– Не нужно слово «нравственность» понимать в элементарном, простом смысле. Мы, писатели, создаем художественную литературу и не призваны называть вещи в полной мере своими именами, это дело публицистики. Мы рисуем иногда тени понятий, но в надежде, что читатель по этим теням поймет, о чем идет речь. Поэтому я нигде не пишу слово «нравственность», надеюсь, что это понятие придет как результат оценки читателем характера, поступка, и, наконец, даже манеры писателя, самого его стиля. Как и в любом искусстве это все построено на оттенках мыслей, иногда на недосказанности, на борьбе характеров. Даже в тех произведениях, где я прямо ставлю добро и зло друг против друга, скажем, в «Двух капитанах» или сказочной повести «Верлиока», я далек от публицистики. Это не математическая формула, это искусство, требующее определенной умственной работы со стороны читателя.

– Когда вышла в свет Ваша первая книга, Вам едва исполнился двадцать один год...

– Да, и я поражаюсь тому, как поздно сегодня писатели вступают в литературу. В мое время было иначе. Современная молодежь плохо знает литературу, и это очень жаль. Потому что линия литературы, путь, по которому она шла – отступаясь, отступая, мучаясь, прячась, – никогда не прекращалась, и никогда не могла прекратиться. Мы вступали в продолжающуюся литературу, где был Блок, стихи и речи которого мы слышали, был Сологуб, Андрей Белый... Одним словом, мы приняли эстафету русской литературы. И когда я утверждаю, что «Воскресенье» – это роман, направленный на прямые нравственные цели, то выстраивается целый ряд других произведений. А что такое «Гамбринус» Куприна? Или «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева? Что такое Горький? Юрий Олеся? Бабель? И вот тут мы натываемся на проблему памяти, проблему нравственной обязанности мыслить исторически. Потому что без исторической памяти мы просто не сможем жить, не сможем работать. Это даже не обсуждается, это ясно как воздух.

– Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже говорил о теоретическом значении памяти в истории литературы и четко высветил неизбежную, нависшую над нами, необходимость нравственной позиции...

– И я счастлив, что твердую нравственную позицию, которой неуклонно придерживаюсь всю свою жизнь, заложил во мне Горький...

– Так получилось, что в том же апрельском номере журнала «Знамя», где напечатан «Силуэт на стекле», публикуются мемуары Константина Симонова «Глазами человека моего поколения», снова, в который раз, возвращая нас к очень большой для всех теме – времени культа личности Сталина. В книге «Литератор» у вас есть целая глава, состоящая из переписки с Симоновым, размышлений и воспоминаний о нем. Вы с ним писатели разных поколений. Симонов сформировался в годы, когда одни (вспоминая Ваш роман «Открытая книга»), разговаривая откровенно друг с другом, накрывали наивно подушками телефон, другие – везде и всегда молчали, делая вид, что ничего не происходит). После XX съезда партии у многих происходила переоценка ценностей, но нужно было большое мужество, чтобы эту переоценку в своей душе совершить в полной мере. Пример такого мужества – записки Симонова.

Процесс формирования писателей старшего поколения, мне кажется, проходил в более благоприятные для творчества времена. Или на вас культ личности тоже воздействовал в полной мере?

– Вы правы, мы с Симоновым принадлежим к разным литературным поколениям. Но, откровенно говоря, мне, уже очень пожилому человеку, жалко, что журнал «Знамя» напечатал

эти воспоминания. Я познакомился с Симоновым в Ялте, в конце 30 – х годов. Это было личное знакомство, которому предшествовало, так сказать, литературное, внушившее мне симпатию и благодарность к нему. Но, знаете, я был поражен, услышав в ответ на мой вопрос, над чем он сейчас работает, что, вот, мол, намерен пойти к председателю Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко и предложить ему три темы пьес. Мы, писатели 20 – х годов работали ни с кем не советуясь, что и как писать, и были в этом отношении верными учениками XIX века. Сам факт, что можно предлагать темы для заказа был для меня странным.

Я верил в искренность Симонова, видя его залитое слезами лицо на траурном собрании в Театре киноактера (умер Сталин – *И.Т.*), от горя он не мог говорить... Но я не могу примириться с тем, что его воспоминания подорвали в моем представлении образ отважного офицера, мужественного человека, каким все его знали. И когда я читаю, что по заказу Сталина он пишет пьесу и советуется с ним, как лучше ее написать, советуется с человеком, сказавшим о посредственной сказке Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука сильнее чем «Фауст» Гете», я думаю: вот оно, ощущение рабства, потеря своего лица. Да, это уже не человек, который творит свою волю в литературе. Думаю, излишне было так широко об этом оповещать.

– Ощущали ли Вы на себе всю тяжесть культа личности?

– Я – такой же, как все. Я все ощущал. Но ни разу, хотя написал много, ни разу не упомянул Сталина ни в прозе, ни в статьях, никогда и нигде. Ну, конечно, разве можно было не знать, не видеть всей лжи, всех предательств? Мое поколение это и видело, и понимало. Границы свободы были в то время чрезвычайно узки и для того, чтобы как – то их раздвинуть, приходилось уходить в другие области. Думаете, почему я так много писал о науке? В науке нельзя лгать, человек, который лжет в науке, тем самым выставляет свою ложь на сцену мирового мнения.

Да, мое окружение не способно было писать пьесы по заказу. Но даже в том, страшном, зажатом положении, в котором мы находились, подлинная литература, несмотря на Павленко и множество ему подобных, никогда не перерождалась. Она – продолжалась. Продолжалась Ахматова, продолжался Пастернак, продолжался Евгений Шварц, с неслыханной смелостью написавший в 1943 году «Дракона»... Литературу убить нельзя. Правда, можно убить отдельных ее представителей, как был убит замечательный писатель Бабель...

– Читая вашу переписку с Горьким, Шкловским, Тыняновым, я подумала: а сегодня писатели друг другу такие письма пишут? Или в наш стремительный век эпистолярный жанр захирел?

– Конечно, пишут. Я сам веду большую переписку и с писателями, и с читателями, но публикую только то, что имеет общий интерес, касается проблем литературы.

За последние годы наша затея – экспериментальный выпуск издательством «Книжная палата» альманаха «Весть», который называется так же, как наша инициативная группа, – объединила В. Быкова, Б. Окуджаву, Ф. Искандера, Д. Самойлова, молодых писателей. Кстати, первый выпуск альманаха уже сверстан. Составлен он из произведений, написанных в наши дни и нигде еще не публиковавшихся. Есть там и моя статья о I съезде Союза писателей СССР, участником которого я был. В ней я привожу имена писателей – делегатов, расстрелянных в конце тридцатых годов (по неполным данным Краткой Литературной Энциклопедии примерно 85 человек).

Передо мной прошла очень длинная писательская жизнь и должен сказать, что, конечно, писем раньше было больше. Писали друг о друге, полемизировали друг с другом и частная переписка смело могла представить интерес для любого нелитератора. Теперь пишут меньше, но пишут. Я, по крайней мере, на недостаток писем жаловаться не могу.

– Судя по Вашему рассказу о Михаиле Орлове, не только пишут, но и приносят рукописи на суд?

– И очень часто. Как – то так получается, что ко мне приходят за советом и помощью главным образом талантливые люди. А бездарные, видимо, зная, что я очень строгий судья, не решаются. Так что считаю, мне повезло, я более или менее в курсе работ нашей молодежи.

– Вы активно выступаете как публицист и в одной из недавних статей написали: «с такой ношей злобных несправедливостей, незаслуженных обид и, наконец, просто преступлений», которые выпали на долю нашей литературы за последние десятилетия, она «не может двигаться вперед или должна двигаться на подгибающихся ногах». С тех пор многое изменилось...

– Сегодня я считаю, наша литература находится в превосходном положении. Я вижу много молодых талантов, я радуюсь, что литература – это ясно доказали опубликованные вещи А. Платонова, Б. Пастернака, В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Гроссмана и многие другие – не прекращалась и не прерывалась никогда, она была зеркалом общества, как была, так и осталась. Приведу цитату из письма читательницы Лидии Гиларьевны Модель: «Много прекрасных публикаций появилось в журналах. Хочется крикнуть: "Пожалейте нас! Мы же 'ополоумеваем' от грандиозного потока (только в журналах), прибывающего каждый месяц. Приходится завозить картотеки – что, где, когда прочитано! А как же быть с основной работой? Сидим в хаосе, перестали убирать квартиры, на столах – свалка – газеты, журналы, письма друзей, на которые приходится отвечать по ночам!"».

На днях меня посетил один молодой писатель, Виктор Ерофеев, который сказал: «Я всей душой за перемены, которые на наших глазах преображают страну». И я согласился с каждым его словом.

То, что в писательской среде, и не только в писательской, идут такие горячие споры, меня не страшит. Потому что эти споры в сущности не касаются самой сути литературного развития, это споры политические, а литература идет уверенно своим путем, и то и дело появляются новые прекрасные произведения. Так что я в очень хорошем настроении, лучшего не бывает. Я полон надежд. У нас – хорошая литература.

Тамара Иванова: «... Какие звучащие тени!»

Мой покойный муж Всеволод Иванов признавался, что «был счастлив сомнением». А я, наоборот, терзаюсь сомнениями: а так ли я написала, а то ли, может, и вовсе не надо было, неинтересно... Тамара Владимировна Иванова (ударение на первое «а»), урожденная Каширина, произносит эти слова хорошо поставленным голосом актрисы, и, глядя на нее, я зримо осознаю словосочетание «следы былой красоты». Здесь «следы» настолько яркие, что воссоздать образ удивительно красивой молодой женщины, которая в конце двадцатых годов стала спутницей жизни и ближайшим другом знаменитого автора «Бронепоезда 14 – 69», ничего не стоит.

– В книге «Мои современники, какими я их знала» Тамара Владимировна описывает себя значительно сдержаннее: «У меня была счастливая внешность...» И о работе своей отзывается весьма скромно: «монтаж воспоминаний». Что ж, монтаж так монтаж. Но какие при этом имена «смонтированы» – Мейерхольд, Бабель, Ольга Форш, Константин Федин, Петр Капица, Борис Пастернак...

Тамара Владимировна рассказывала, что как – то в семидесятых годах встречала в Шереметьево чешскую переводчицу произведений Всеволода Иванова. И, проезжая по улицам Москвы, показывала своей спутнице памятники, воздвигнутые знаменитым писателям. И получалось так, что каждый раз добавляла: «Была с ним хорошо знакома». Максим Горький, Владимир Маяковский, Алексей Толстой...

А в коридорах Союза писателей чешская гостья, удивленная тем, что Иванова не всегда может удовлетворить ее любопытство и назвать попадавшихся им навстречу писателей по фамилиям, воскликнула «Вы что, только с памятниками знакомы?» Это, конечно, шутка. Тамара Владимировна, отметив свой 90 – летний юбилей, была так же полна интереса к окружающей ее литературной жизни и литераторам, со многими дружила. Она была прекрасным рассказчиком, чему немало способствовала актерская подготовка и замечательная память.

Прочитав книгу ее воспоминаний, я спросила: а не возникало ли у нее желания самой заняться творчеством, писать оригинальные вещи, а не мемуары или статьи? Иванова спокойно взглянула на меня и ровным голосом, в котором, однако, я уловила раздражение моей непонятливостью, ответила: «Да нет, я не писатель. Я просто современница многих выдающихся людей нашего столетия. Некоторые из них даже дарили меня своей дружбой, причем дружбой на равных. И еще: я очень больно реагирую на ложь, а врут, извините, весьма много. Поэтому я рассказываю только о том, что происходило на моих глазах, о событиях, в которых я до какой – то степени принимала участие. Иногда, встречая в печати, в книгах очередную ложь, я говорю сыну Вячеславу Всеволодовичу, что нужно как – то ответить, как – то опровергнуть... А он: нет, нужно просто самому написать то, что знаешь. Наверное, он прав.

Но основным делом для меня была и остается работа с архивом мужа.»

– Я знаю, что Вы были ученицей Всеволода Мейерхольда. В Вашей книге раздел «Портреты друзей» начинается именно с Мейерхольда, или, как все вы его называли, «нашего мастера»...

– Да, он был исключительный педагог. Не читал нам лекций, а беседовал с нами. Он говорил: «Вы подмастерья в мастерской волшебства, вы должны это чувствовать». Всеволод Эмильевич умел поднять нас до себя.

– Мне очень понравилась фраза, которую Вы взяли из архива Всеволода Иванова и сделали эпиграфом к Вашей книге: «Ух, какие звучащие тени!» Почти у всех, о ком Вы написали, с кем дружили и были близки, судьба трагическая. В большей ли степени, в меньшей ли яростное дыхание века коснулось каждого из них. Как минула сия чаша вашу семью?

– А разве она минула? Вы хотите спросить: почему мужа не арестовали, не посадили? Мне и самой это не очень понятно. Скорее всего такая угроза была в начале пятидесятых, но повезло, что Сталин умер. Однако Всеволод Вячеславович, хотя физически все эти годы в тюрьме и не сидел, морально себя чувствовал в тюрьме. Об этом свидетельствуют и его дневниковые записи. К тому же его не печатали. Не печатали тогда, неохотно делают это сейчас. До сих пор остаются в архиве его неопубликованные произведения.

– Но, насколько я знаю, вышло немало его книг, собрания сочинений, опубликованы романы «Кремль» и «У»...

– Да, удалось издать все это посмертно. Но чего мне это стоило! «Пробивать» свои книги Всеволод не умел.. И литературная судьба его весьма трагична: критика и по сей день обходит его имя, даже перечислительно не упоминает, в статьях он всегда попадает в «др». Даже о таких важных для творчества этого писателя романах, как «Кремль» и «У», изданных только после его смерти, никто ничего не написал. У меня есть только внутренние рецензии членов комиссии по литературному наследию Иванова. Ну просто заговор какой – то в прессе...

А хотите расскажу, с какого трагикомического эпизода началась его литературная биография? Это было в Сибири. Он тогда только – только собственноручно набрал свой первый сборник рассказов «Рогоульки» (работал наборщиком в типографии). И ходил гордый, одетый по моде либералов того времени – ну, вроде хиппи теперешних. Его спросили: «Ты писатель?» – «Писатель». – «А как звать?» – «Всеволод Иванов». Тогда его арестовали. А он и не знал, что прессой у Колчака (это было как раз в те времена) руководил Всеволод Никанорович Иванов. Ну, повели его куда – то за город, «к стенке ставить». А по дороге случайно повстречали в толпе военных командира Всеволода по Красной гвардии, он и «отбил» своего бывшего бойца. «Это, – сказал он конвоиру, – мой красногвардеец». А времена были такие... не бумажные. «Ну, раз он тебе нужен, – отвечает конвоир, – так и забирай его.»

«Двойничество» с этим Всеволодом Никанорычем тянулось через всю жизнь Всеволода Вячеславовича. Тут и трагедии, и драмы, и анекдоты. Тот, Никанорыч, вернулся потом из восточной эмиграции, и стали его печатать, обозначая так: Всеволод Ник. Иванов. А потом оба умерли. И к 95 – летию Всеволода Вячеславовича издательство «Современник» подготовило Собрание сочинений Всеволода Никанорыча, никак не обозначая отчества и того, что тема у него пикулевская – цари, царицы, их любовники и любовницы. И если читатель возьмет любой справочник, там есть только один Всеволод Иванов, тот, который написал «Бронепоезд». Что же ему, читателю, остается думать?

К февралю 1990 года, когда мы беседовали с Тамарой Владимировной, в дачном писательском поселке Переделкино остались лишь два представителя самой первой плеяды переделкинцев – Леонид Леонов и Тамара Иванова. Леонов приезжал в Переделкино только летом, Иванова жила там почти безвыездно. С этими местами были связаны самые яркие моменты ее жизни – и радостные, и печальные. Здесь хранились ее рукописи, здесь были драгоценные семейные реликвии вроде упирающейся в потолок веерной пальмы, которая выросла из небольшой веточки, попавшей в корзину сирени, подаренной в день ее рождения Борисом Пастернаком.

На протяжении тридцати двух лет они были с Пастернаком соседями (в заборе, разделявшем две дачи, чтобы удобнее было общаться, сделали калитку). Остались письма, шуточные записки с приглашениями в гости, фотографии. В книге «Мои современники, какими я их знала» есть глава «Борис Леонидович Пастернак». Но ничего не сказано в ней о тех трагических днях, которые пришлось пережить поэту. В то время, когда издавалась книга, об эпизоде с присуждением Нобелевской премии говорить пока еще не полагалось. Эту часть воспоминаний в издательстве аккуратно изъяли.

– Начиналось так. Поздно вечером 23 октября 1958 года звонит к нам на дачу жена Николая Тихонова, тогдашнего секретаря правления Союза писателей, и говорит мне: «Только что

от В.В. Сухомлина, представителя французской газеты «Либерасьон» в Москве, узнала, что Борису Леонидовичу присуждена Нобелевская премия за «выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». Хорошо бы, чтобы Вы ему поскорее сообщили». У Пастернака телефона не было, и я, конечно, сказала, что сообщим непременно. Всеволод, который уже лежал в постели, вскочил, надел прямо на пижаму халат, и под дождем (осень была холодная) мы побежали к Пастернаку. Дверь открыла Нина Александровна Табидзе, вдова Тициана Табидзе, которая у них гостила. Затем вышел Борис Леонидович. Нина Александровна стала открывать вино, а я пошла за хозяйкой дома. Зинаида Николаевна уже была в постели, сказала, что не встанет, что от этой премии ничего хорошего для Бореньки не ждет. Так, вчетвером – Нина Александровна, Борис Леонидович, Всеволод и я, – пили вино и радовались. Всеволод непрестанно повторял: «Ты, Борис, лучший поэт эпохи и заслужил любую премию мира». Когда разошлись, была уже ночь.

А утром снова звонок, уже из Союза писателей, секретарь Тихонова: «Тамара Владимировна, дайте знать Федину, что к нему выехал Поликарпов из ЦК. По поводу того, что Пастернаку присудили Нобелевскую премию». Я снова бросилась к Всеволоду, и тут мы увидели в окно, как к пастернаковской даче идет Федин. Он пробыл там недолго. А через пять минут после его ухода к нам прибежал Борис Леонидович: «Впервые в жизни Костя приходил ко мне не как друг, а от лица, пославшего его. Мне поставили ультиматум: я должен отказаться от премии. Дано два часа на размышление».

Всеволод сказал: «Борис, я тебе уже вчера без конца твердил, что ты заслуживаешь любую премию мира, и сейчас повторяю это. Поступай, как знаешь». Пастернак очень обрадовался, расцеловал нас и убежал. Иду, сказал, посылать благодарственную телеграмму...

Дальше события развивались стремительно и трагически... Тамара Владимировна уехала по делам в Москву, а в Переделкино и Иванову, и Пастернаку принесли из СП повестки с требованием явиться завтра на заседание президиума правления СП СССР, где должен был обсуждаться вопрос о недостойном поведении Пастернака...

Всеволод Вячеславович, запершись в своем кабинете, делает наброски своего будущего выступления, где доказывает, что «исключать Пастернака из Союза писателей ни в коем случае невозможно...» (за год до нашей с Тамарой Ивановой беседы это письмо опубликовал еженедельник «Неделя»). Но потрясение, видимо, было так велико, что, не закончив письма, он потерял сознание и упал на пол – спазм мозговых сосудов. А едва придя в себя, послал вернувшуюся жену к Пастернакам узнать, как там дела.

Бориса Леонидовича Тамара Иванова застала в кругу гостей, был день именин его жены. Левая рука у Пастернака была на перевязи. Она спросила, для чего эта черная повязка. Он ответил, что, когда читал повестку из союза, рука как бы отнялась, вот он и подвязал ее на всякий случай. И ничего, вроде проходит. Он и не знал, что это было предынфарктное состояние. А еще сказал, что написал письмо Фурцевой. На вопрос, почему Фурцевой, ответил: «Так ведь она женщина...» Из правительства с женщиной ему было легче общаться...

– Борис Леонидович был готов на все, – сказала Тамара Иванова, – кроме высылки из страны. Пока ругали, позорили, подвергали остракизму, он все терпел. Потом, когда и Всеволод, и Пастернак оправались и уже не только я бегала к Пастернакам, а и Борис Леонидович приходил к нам, он говорил: «Перед приходом к вам мне надо ванну принимать, такими меня помоями обливают, так я испоганен...».

Так получилось, что февраль месяц был урожайным на дни рождения. 10 февраля родился Борис Пастернак, 17 февраля – Тамара Владимировна, 24 февраля – Всеволод Вячеславович. Как весело они проводили эти семейные торжества! Однажды, в год своего 65 – летия и 60 – летия Тамары Владимировны, Всеволод Иванов задумал отпраздновать совместный 125 – летний юбилей. Так и сделали. В архиве Пастернака даже сохранился пригласительный билет, украшенный шутивным изображением юбиляров. С тех пор эту дату отмечали только так.

В феврале 1990 года, незадолго до того, как я приехала к ней в гости в Переделкино, Тамара Владимировна отметила их совместное 185 – летие.

Николай Анненков: «Все, что мне нужно, – видеть вас, чувствовать, знать...»

Из своих ста с небольшим хвостиком лет актер Николай Анненков отдал театру семьдесят семь. Современник Мейерхольда, Станиславского, Таирова, он практически до последнего дня жизни с трепетом и наслаждением выходил на сцену Малого театра. Сыграл более двухсот ролей, и последние две – Фирс в «Вишневом саде» и схимник Левкий (Клешнин) в «Царе Борисе» – требовали сил и творческой отдачи ничуть не меньше, чем предыдущие работы, исполненные, однако, в более молодые годы. Истории мирового театра известен лишь еще один такой феномен творческого долголетия: это польский актер и режиссер Людвиг Сольский, на сотом году все еще работавший в театре. Николай Анненков тоже готовился к юбилею и мечтал о том, как 21 сентября 1999 года (именно в этот день он должен был разменять вторую сотню) будет играть на любимой сцене. И мечту свою исполнил, вышел на сцену Малого театра и сыграл в пьесе Алексея Толстого «Царь Борис». И скончался – ровно через девять дней, 30 сентября, после триумфально отпразднованного юбилея и через 9 месяцев после нашей с ним беседы в декабре 1999 года.

– Какое Вы думаете взять интервью? – спросил он меня по телефону и тут же поспешно добавил: – Учтите, маленьких интервью я не даю.

Совсем не почувствовав подвоха, я пришла к нему домой на следующий день к полудню, а ушла только вечером, со всей полнотой уяснив, что означает выражение «выжатый как лимон». Мы говорили обо всем на свете. Анненков, в первые минуты показавшийся немощным стариком (я даже подумала было: все это грустный обман, ни в каких спектаклях он играть просто не может), вдруг расцвел, зарокотал, голос обрел звучность. И я поняла: каждое его слово отчетливо слышно на галерке. Интонации, модуляции, тембровые оттенки – все опять стало очень знакомым и ... характерным для романтической актерской школы. Он пел мне арии, читал стихи, проигрывал сценки. Словом, был неутомим.

– Знаете, детка, – сказал он, – человек состоит из сердца, воли и ума. К концу жизни я уже сделался мудрым, стараюсь руководить всеми этими тремя компонентами. Самое главное в актере – владеть подсознательным чувством, так сказать, душевным компьютером. Это дает возможность прийти к моментальному вдохновению. Слезы, страх, ужас (ударяет себя в грудь) – моментально тут!.. (Учтиво встает). Пожалуйста, еще раз назовите свое имя. Эта моя несобранность есть результат волнения от встречи с Вами. Волнения и думы. Ира, Ира, Ира... Вот теперь я запомнил. Понимаете, имена я плохо воспринимаю, но зато помню до последнего слова все роли. А это важнее, не правда ли?..

– У Вас есть особый секрет запоминать тексты? И вообще, в чем секрет такого творческого долголетия?

– Трудно сказать. У меня был ученик, Олег Даль. Перед смертью он сказал: «Искусство там, где мама». Мама – это пуповина, и все, что в ребенке есть, передается через пуповину. Материнское начало – вот там искусство, там я его нахожу.

– Вы Олега Даля этому учили?

– Его учить трудно было. Он все время на съемках пропадал. Он и стихи писал трагические: «Так жизнь промчится одиноким зверем...»

– И Вам нравится?

– Мне нравится Пушкин. Еще – Державин... А это все – так (машет рукой). Мои студенты любили писать...

– Отчего же – «так»?

– Вы входите в мою жизнь, а она совсем не веселая и счастливая. Даже не знаю, стоит ли об этом? Я откровенно говорю, что на первом месте у меня чувство, огромное, которое

заполняет меня всего (а эти стихи – не заполняют), дальше воля идет, но воля подчиняется этому чувству, и если я уступаю, то неизвестно, победа это или поражение, радость или беда. Поэтому и портрет мой (показывает на стену, где висит изображение дивного, писаного красавца средних лет), он сделан еще до моей второй женитьбы, я только в этом году вытащил из – за шкафа и очень его не люблю. Только женившись во второй раз, я понял – это оазис, я попал в оазис. А та, предыдущая жизнь, была очень трудная.

– Вы думаете о будущем, о прошлом не любите вспоминать...

– О прошлом? – Смеется и вдруг громко поет: «Я о прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль...» Я пел раньше на сцене. Я и теперь пью травяной отвар для голоса, чтобы был чистый звук.

– Вы предпринимаете что – то особенное, чтобы и выглядеть молодо, и быть в форме? По – особому питаетесь, занимаетесь зарядкой?..

Он вдруг пристально смотрит на меня и заявляет: «Все, что мне нужно, – вас видеть, вас чувствовать, вас знать...» – (Оторопев, я не сразу соображаю, что, конечно же, Анненков имеет в виду некий собирательный образ Зрителя)... И через паузу: «Конечно, я делаю зарядку, но самую необходимую. Ем вкусные и полезные вещи, но – все понемногу. С ногами только плохо, пять лет назад упал и ударился спиной, с тех пор проблемы».

– А спектакль играть не трудно? Ведь сами говорите: третий месяц сотого года пошел.

– Я к каждому своему спектаклю отношусь с волнением. Когда подходит срок моего очередного выхода на сцену, уже заранее волнуюсь и готовлюсь. Каждый раз словно заново в него вхожу. И вот уже за сценой, за кулисами спокойно сижу и жду своей минуты и тихо вхожу – без единой мысли. И только тогда начинаю мыслить, когда начинаю работать. Вдруг без перехода принимается разыгрывать передо мной сцену из «Царя Бориса».

Я снова от неожиданности столбенею, ибо сидящий только что вполне расслабленный человек резко преображается. Меня он снова не видит, перед ним вновь Публика, и он Актер...

Клешнин.

Ты мягко стлал, но не помог себе
Медовой речью в горькую годину.
Не помогли и казни. Над тобой
Проклятье Божье. Мерзость ты свою
Познай, как я; прими такую ж схиму;
Сложи венец; молися и постись;
Заприся в келье...<...>

Борис.

С судьбой бороться буду
Я до конца!

Клешнин.

Так умирай, как пес!

– Вы не писали мемуаров?

– Нет, не писал. Начал было, но жил так активно, что писать было некогда. Я и сейчас так живу. А еще – верите ли – и сегодня живу повышением мастерства актера, каждый раз заново делаю роль, все время над ней работаю. У меня на столе всегда томики работ Станиславского.

Недавно сказал ректору Щукинского училища, где преподаю: «Я должен говорить о слове, я недоволен тем, как нынче говорят. Русский язык – это лучший язык в мире, он способен передать тончайшие движения души. А говорят дурно, скверно депутаты парламента и даже дикторы телевидения.

– Вы смотрите телевизор?

– Конечно. Меня интересует сегодняшний день, и я в ужасе от той наклонной плоскости, на которой мы находимся. Что же будет дальше с Россией?!

– А о новой роли думаете, ну, хотя бы мечтаете о ней? – говорю я, поскольку слышана, что все эти годы Анненков приходил к художественному руководителю Малого театра и спрашивал о «планах на него».

– Я боюсь новой роли. Потому что нужно репетировать каждый день. Я думаю о том, доживу ли до 21 сентября, когда мне исполнится 100 лет, чтобы сыграть одну из двух своих последних ролей. Конечно, я мог бы взять новую роль и сыграть ее. Например, с удовольствием сыграл бы Отелло...

– Отелло? – я не успеваю сдержать удивленного возгласа.

– Вот и Вы туда же! Я сказал как – то об этом своем желании руководителю нашего театра Юрию Соломину, а он в ответ: «Только через мой труп». Бойтесь, наверное, что не выдержу.

– Но почему именно Отелло? Темперамент вам подходит?

– Потому что я – вижу. (Читает оду Державина «Бог»)

Я царь – я раб – я червь – я бог!..

– Наверное, женщины Вас обожали.

– Как – то неудобно об этом говорить. Да, много было таких случаев. Ну что ж делать! После тяжелейшего разрыва с моей первой женой, от брака с которой я, как мне казалось, никогда не оправлюсь, ко мне благосклонно отнеслась жена одного маршала. Я помню, как бежал по Арбатской площади и кричал: «Господи, я опять люблю! Спасибо, Господи!» Я и сегодня преклоняюсь перед этим чувством – любовью. Мне, артисту, она необходима. И потом к концу жизни я стал мудрым... Не знаю, можно ли это опубликовать?..

О, Господи, подумала я, услышать такое в наши дни!..

– Николай Александрович, а какое у Вас самое яркое воспоминание детства?

– Когда в 1910 году отец, я Вам уже говорил, он был купцом, привез меня с собой в Москву, мы остановились в гостинице «Славянский базар» на Никольской. Оставшись в номере один, я решил заказать себе рюмку смирновской водки. Мне шел одиннадцатый год, и я считал себя совершенно взрослым. Позвонил, на подносе принесли большую рюмку. Я залпом ее осушил и понял, что водка на самом деле совсем не жидкая. Она – сухая. А еще у нее был вкус ореха. Потом на рубль, который мне дал отец, я поехал с его знакомым кататься на извозчике по Москве. Побывал в Третьяковке и еще много – много где, накатался всласть. Рубль – это было много. Корова тогда стоила семь рублей, воз арбузов – сорок копеек. А знаете, на месте того здания, где раньше находился ЦК КПСС, размещались амбары Консеевской и Куваевской мануфактур. Там мой отец покупал аршин ситца за 13 с четвертью копеек, а продавал затем за 14 копеек. На эти три четверти копейки через два года отец увеличил состояние моего деда в четыре раза.

В 1917 году я окончил в Тамбове реальное училище и сдал экзамен в институт путей сообщения. Отец мне купил пальто с погонами. Но с первого курса института я ушел добровольцем в Красную Армию. Там – то, в самодеятельности, и проявилось, что я, оказывается, умею играть. И я играл разные роли и чувствовал, что счастлив.

– Вы, сын купца, по убеждению стали коммунистом, секретарем парторганизации Малого театра?

– Я же говорю, что добровольно пошел в армию. А потом 12 лет был в Малом театре вторым секретарем. Один артист нашего театра шутил: «Анненкову за роли коммунистов нужно платить отдельно». Так искренне я их играл, с такой отдачей и так честно. Но, конечно, мне интересны были характеры сложные, на переплетении добра и зла. Однажды в ЦК мне даже предложили взять Малый театр «в свои руки». Я отказался. Не могу двум богам служить. Я артист.

– А какая самая памятная роль?

– Однажды летом в дощатом театре в Парке Горького актеры Малого театра играли спектакль. Он уже давно забыт. У меня была эпизодическая роль. Всего несколько слов. И вот я гримируюсь перед выходом, слышу, за стенкой какая – то суета началась. Оказалось, не явился исполнитель главной роли. Прибежал ко мне администратор: «Коля, сыграй!» Я в ужасе кричу: «Нет! Я роли не знаю!» «Ну, выручи, мы уже деньги получили, нельзя спектакль останавливать. Позор будет для Малого театра!» Что ж делать! Несите, говорю, костюм...

Как потом домой пришел, не помню. Только очнулся на следующее утро: лежу на кровати в пальто, в калошах... Было мне тогда около тридцати лет. Но и через семьдесят лет помню. До сих пор мурашки по телу.

– И учеников своих всех – всех помните? Их ведь у Вас очень много было.

– (Смеется и подмигивает мне) Нет, всех, конечно, не помню. Но – очень – очень многих. Самых талантливых и ... стихи пишущих.

Семен Липкин: «Нынешняя власть не заинтересована в литературе. Это хорошо.»

Когда, закончив беседу, я собралась уходить, Липкин достал с полки последнюю свою книжку стихов «Перед заходом солнца», написал и протянул мне. Я, испытывая чувство неловкости, тем не менее тут же в нее влезла и прочитала надпись. «Это вы очень правильно делаете, – сказал поэт. – Когда – то вот так же свою книгу мне подарила Ахматова. Я взял и, не раскрывая, не читая, поблагодарил. Анна Андреевна заметила: «Две вещи нужно знать: не надписывать косо, а если вам надписывают книжку, – тут же надпись прочесть».

На мой растерянный вопрос, отчего же нельзя надписывать косо, Липкин ответил: «Не знаю, Ахматова, видимо, считала это дурным тоном».

На вручении Липкину немецкой Пушкинской премии за вклад в русскую литературу он произнес речь, в которой были такие слова: «Один американский писатель, кажется, Генри Миллер, посетивший Россию, удивился тому, что для русских писатель Пушкин – все равно что для американцев политик Вашингтон. Это действительно так. Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй Освободитель – люди значительные, но для нас они императоры, жившие при Пушкине, Тютчеве, Гоголе, Толстом, Достоевском. Я думаю, что наши потомки будут знать о Хрущеве, Брежнев, Андропове и других черненко, что они были современниками Солженицына и Бродского. Уж такова Россия».

Летом 1961 года Анна Андреевна Ахматова подарила Липкину свою «маленькую книжицу в черном переплете», вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии», и ровно, не скашивая, написала: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала».

В квартире у метро «Аэропорт», где мы беседовали с Семеном Израилевичем в октябре 1996 года, жили сразу два больших поэта – Липкин и его жена Инна Лиснянская. Липкин и Лиснянская, Лиснянская и Липкин – как не переставляй, они останутся все теми же большими, самобытными, самодостаточными величинами. Липкин в тубетейке читал мне свои стихи, а Инна Львовна (в каких – то экзотических цыганских одеждах) стояла в дверях, уходила на кухню, чем – то там гремела, потом возвращалась, вновь останавливалась в проеме двери и внимательно вслушивалась. Не вмешалась ни разу.

Я попросила Липкина: «А можно читателям «Литературной Газеты» стать первыми читателями какого – нибудь из написанных Вами последних стихотворений? Я знаю, что нынешнее лето Вы провели в Доме творчества в Переделкине и, наверное, там не только отдыхали, но и работали».

Он сразу откликнулся:

– Доныне движутся во мне
Блестящих брызг морские звуки
И параллельные волне
Твои смеющиеся руки.
Не рядом, за тобой плыву
К вдали сияющему раю.
И двух просторов синеву
В себя восторженно вбираю,
Как долго без тебя живу.
Но знаю: наконец прерву
Оцепенение тупое

И вновь с восторгом поплыву
Вслед за тобою, за тобою.

– Знаете, Семен Израилевич, когда Вы читали эти строки, я думала о том, что Заболоцкий (это свидетельство из Вашей книги воспоминаний «Вторая дорога») обозначил гармонию аббревиатурой МОМ: мысль, образ, музыка. А у Вас какое определение?

– Близкое к формуле Заболоцкого. Я считаю, что в стихотворении самое главное – музыка. Недаром мы говорим: лирика. Стихи вышли из музыки, из лиры, из арфы. И одного стихотворца от другого можно отличить только с помощью музыки. Потому что часто идеи повторяются, но вот музыка неповторима. Поэт прежде всего тот, чья музыка только его и принадлежит только ему. Причем это относится и к поэзии, и к прозе. Музыка Гоголя не похожа на музыку Толстого, музыка Толстого – на музыку Тургенева, музыка Тургенева – на музыку Булгакова. Я нарочно вспоминаю прозаиков, а не поэтов, потому что между прозой и стихотворной литературой нет принципиальной разницы.

Затем очень важна мысль. Не терплю зауми, мне кажется, что это выражение бессилия. Но не терплю и глупости.

– А что Вы имеете в виду под словом «заумь»?

– Как – то Анна Андреевна рассказывала, что ее познакомили с поэзией Константина Вагинова, даровитого поэта, довольно известного в начале советского периода русской литературы. Ахматова отнеслась к его стихам отрицательно, сказала: «Я не понимаю его. А ведь я пишу для читателя, я хочу, чтобы читатель понял!» Конечно, это не значит, что все нужно сводить к простоте Лебедева – Кумача, но к простоте Тютчева хорошо бы свести.

– И, наконец, третье в Вашем определении гармонии?

– Третье – это живопись.

– То есть образ?

– Это и образ, и рисунок, и зоркость в воспроизведении черт человека, – все то, что является главным для живописца.

– Что же Вы видели в Переделкине, когда сочиняли строчки о водной стихии?

– Просто вспомнил событие из своей жизни. Когда годы идут к концу, часто вспоминаешь начало.

– Как известно, путь Ваш с самого начала не был усыпан розами, скорее в нем было больше колючек и «восточных переводов». Однако все изменилось. Вот и немецкая премия за... вклад в русскую литературу...

– Я настолько остолбенел, когда мне сообщили об этом, что не нашел слов в ответ. Не спал почти всю ночь. Сочинял стихотворение. Когда проснулся, оказалось, что я его забыл. Но напряг всю свою волю и вспомнил. Правда, не оставляло ощущение, что ночные стихи были лучше. Я назвал стихотворение «Квадрига». Это о друзьях моей молодости – Арсении Тарковском, Аркадии Штейнберге, Марии Петровых и обо мне, грешном. Нас было четверо неизвестных поэтов, как тогда говорилось, далеких от современности. Тарковский увидел свою первую книгу напечатанной, когда ему было пятьдесят два года, я – в пятьдесят шесть, Аркадий Штейнберг, чудный поэт, так и умер, не издав книги. А у Марии Петровых, Маруси, как мы ее ласково называли, при жизни вышло (в Армении) только полкниги, потому что вторая половина – переводы.

– Может, нужно утешаться тем, что между художником и властью никогда не бывает гармонии? И чем активнее власть не приемлет писателя, тем крупнее он в итоге оказывается. Правда, сейчас как бы наступило некое подобие перемирия...

– Вынужден возразить. Не всегда власть отталкивает поэта. Тютчева, например, не отталкивала. Баратынского – как поэта – не отталкивала, я не говорю о его неблагоприятном поступке, совершенном в молодости, да и Фета, у которого были социальные трудности, – тоже. Можем

ли мы вспомнить, кого царская власть отталкивала, чьи произведения запрещала? Это происходило с теми, кто отталкивал власть от себя. Скажем, герценовские ранние произведения были напечатаны. Тургенева никогда власть не преследовала за его романы и рассказы, Щедрина, уж на что был критик режима, не трогала. Некрасова – тоже.

– То есть, мирное сосуществование вполне возможно?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать, почему советская власть преследовала писателей. Ведь не было же у нее мысли: ах, дай – ка я начну их преследовать! Просто советская власть зависела от литературы. Объявляя белым то, что черно, и черным то, что бело, она требовала, чтобы литература подтверждала этот обман. Уничтожали крестьянство – надо было писать о расцвете колхозной жизни, уничтожали интеллигенцию – надо было писать о развитии нашей научной мысли. Советская власть нуждалась в обмане, и слабые люди по слабости своей этот обман совершали, иные – преследовались.

Нынешняя власть не заинтересована в литературе. Это хорошо.

– Почему хорошо?

– Потому что литератор теперь независим, он может писать все, что угодно. Но наша литература не была подготовлена к такой свободе, и свобода превращается часто в бессмыслицу, часто – в нецензурность в прямом смысле этого слова. Все это пройдет, все будет в порядке. Надо только не торопиться, понимать, что русская литература – это великая литература, она была такой и будет такой.

– Я прочитала Ваше эссе «Карьера Затычкина», такую молодую, такую искрометную прозу...

– Спасибо за лестный отзыв.

– Но у меня есть и вопрос. Вы пишете о советских поэтах, разделяя большую их часть на «пролетарских» и «комсомольских». «Пролетарских», более для Вас предпочтительных и по уровню образования, и по душевному настрою, тех, кто, как Вы считаете, «представляли собой определенный, хотя и непрочный пласт цивилизации», уже нет больше. Остались «комсомольские», чья характерная черта, по Вашему же определению, «безликость, массовость лица»...

– Остались ли? У меня ведь есть и продолжение: «Поэтому они всегда, из поколения в поколение, у нас процветают, пока это нужно Государству».

– Но Вы причисляете к ним не только поэтов от Маяковского до Жарова, Безыменского, Светлова, но и в какой – то мере относите к ним и Вознесенского, и Евтушенко...

– Вот именно, в какой – то мере. Я пишу, что даже у Вознесенского и Евтушенко есть черты комсомольских поэтов. Потом учтите, эссе написано более десяти лет тому назад.

– Что ж, значит, они исправились. А у нынешних молодых Вы таких черт не видите? И потому говорите, что «все пройдет, все будет хорошо»?

– Такие черты уже не нужны. Если были бы нужны, нашлись бы и новые «комсомольские поэты», беспринципных людей много.

– После публикации «Карьеры Затычкина» на Вас никто не обиделся?

– Я мало с кем встречаюсь, не знаю, может, кто и обиделся. В книгу вошли и другие мои воспоминания, которые я написал до тягостных для меня событий. Это – книга о Гроссмане, довольно большие по объему воспоминания о Мандельштаме, которые я долго не мог напечатать, хотя и предлагал разным журналам. О Гроссмане вышло за границей.

– Мандельштаму, как Вы вспоминаете, «очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гутенберга». Он был одинок. А Вы? Случалось читать свои стихи юному дарованию, забредшему к Вам в поисках одобрения своего рифмованного творчества? Хотелось ли Вам тоже связи с временем?

– Трудный вопрос. Во-первых, я не люблю читать свои стихи и делаю это только в присутствии тех людей, о которых заранее знаю, что им будет интересно меня слушать. Не важно,

понравятся стихи или нет. В прежние годы я читал только самым своим близким друзьям. Читал Ахматовой, Мандельштаму, Платонову, Гроссману.

– Начиная с Багрицкого.

– Да, начиная с Багрицкого. Но тут уж я не читал, а просто приносил как гимназист учителю. Надо сказать, что и время было другое. Или я был другим? Сейчас молодые поэты просто приходят и читают мне стихи. Я их об этом не прошу, а они – читают. Раньше так не делалось.

– Вы хотите сказать, что молодому дарованию «путевку в жизнь» должна давать сама жизнь, но не поэт более старшего поколения? А как же тогда преемственность, наставничество, а как же : «Старик Державин нас заметил...»? И если бы Вы сами, еще гимназистом, не пришли к Багрицкому, и если бы Вами не занимался Мандельштам...

– Я бы все равно писал. Может быть, не стал бы профессиональным стихотворцем, но писал бы. К Мандельштаму я пришел только потому, что он написал мне открытку. Очень хотелось прочитать стихи Андрею Белому. Мы были соседями, я жил в Неопалимовском переулке, а он – в Долгом. Иногда гуляли по переулкам, говорили больше о математике, но, конечно, и о литературе. Я очень хотел узнать мнение этого огромного поэта о своих стихах. Но он не предложил мне их прочесть, а я не попросил. Так же было и с Пастернаком, который как – то сказал мне: «Маруся Петровых говорит, что Вы пишете хорошие стихи». Но даже в этот момент мне показалась некрасивой, назойливой моя возможная просьба разрешить прочитать стихи. Так я никогда и не читал ему.

– О Вас говорят, что Вы практически перевели все (!) эпосы азиатских народов бывшего СССР. У Вас от «восточных переводов» никогда не «болела голова»?

– Никогда. Я очень любил переводить и классическую поэзию, и народно – поэтическую. Я делал это с удовольствием. Когда издательство «Ардис» выпустило мою книгу «Воля», которую составил Бродский, по радио «Свобода» я услышал передачу о себе, где говорилось, что я, мол, долгие годы вынужден был заниматься не своим делом – переводами. Если бы я тогда имел возможность поговорить с Карлом Проффером – выступал именно он, – я сказал бы, как он не прав. Действительно, я начал переводить ради хлеба насущного, но увлекся. Много читал книг по истории народа, эпос которого переводил, кое – как выучил язык фарси и работал с подлинниками...

– С эпосом все ясно. А Ваши переводы стихов, славящих «вождя всех народов»? Хотелось бы Вам, чтобы они исчезли, канули в небытие?

– Да, я вспоминаю об этом с чувством стыда. Но, может быть, Вам первой признаюсь, что и эти вещи переводил с удовольствием. Потому что любил тот народ и тех поэтов, с языка которых переводил.

– После Вашего вполне безобидного участия в альманахе «Метрополь» начались гонения, которые перекрыли все даже предполагаемые неприятности. Я знаю, что авторы альманаха условились в знак протеста подать заявление о выходе из Союза писателей (те, конечно, кто к тому времени в нем состоял). Сделали это только Вы с Инной Львовной Лиснянской, Вашей женой.

– И еще Аксенов.

– Получается, что вас тогда фактически предали? Не пора ли назвать все своими именами? Возможно, всех вместе не стали бы так строго судить и преследовать?

– Писателя, художника судят по тому, что он написал, а не по его поступкам. Я никого не хочу судить. В альманахе «Метрополь» участвовали крупные талантливые писатели, много сделавшие для русской словесности. Дай Бог им долгой жизни. Жалко, что умер Юрий Карабчиевский. Нам с Инной Львовной он очень нравился.

– Но у Карабчиевского и положение было особое, да и членом СП он не был. Характеризуя метропольские времена, он говорил мне: «Я считаю, что в итоге никто ничего не потерял.

А мне и вообще терять было нечего: я был рабочим, чинил всякие электронные приборы. Так что и падать было некуда, и терять нечего. Я только приобретал: литературный круг, друзей, наконец, легальное положение».

– Вообще – то время было хорошее.

– ?

– Что Вы так удивляетесь? Мы были несколько моложе, много писали, так как уже не надо было заниматься переводами. Я, например, написал столько, сколько не написал за всю свою прежнюю жизнь.

– Решиться на такой поступок было тяжело?

– Нелегко. Мы с Инной Львовной продумывали, что может быть? Мог быть арест и концлагерь, мог быть арест и ссылка, могли выслать за рубеж. Правда, когда нас вызвали, пугали высылкой. Инна Львовна заявила: «Выеду только в наручниках». Я же, когда, уже в 1985 году, допрашивающий сказал, что жителям Фрунзенского района не хочется, чтобы среди них жили такие люди, ответил, как мне тогда показалось, весьма остроумно: «Не все жители. Например, один видный житель Фрунзенского района пожелал мне счастья, здоровья и творческих успехов». Последовал быстрый вопрос: «Кто?» Я сказал: «Военный комиссар района, который к 40 – летию Победы вручил мне орден «Отечественной войны». Но никто не улыбнулся.

– Вы говорили, что хотели бы написать об Ахматовой, которую хорошо знали, но после книги Лидии Корнеевны Чуковской это сделать очень трудно. Почему?

– Лидия Корнеевна, как известно, вела дневник, все записывала. Я, к стыду своему, этого не делал.

– Значит, все Ваши статьи – о Мандельштаме, Цветаевой, Шенгели, Гроссмане, Заболоцком Вы писали по памяти?

– Все по памяти. Мне не приходило в голову, что нужно вести дневник.

– Поэтому и обозначили небольшую статью об Ахматовой в книге «Вторая дорога» как «Разрозненные воспоминания»?

– Я иногда вспоминаю то, что не вошло в мои коротенькие «Беседы с Ахматовой», ее слова по тому или иному поводу, различные жизненные ситуации. Может быть, дополню. Но дело в том, что, вспомнив ту или иную фразу Ахматовой, я нахожу ее уже воспроизведенной в «Записках» Лидии Корнеевны.

– А о ком из близких Вам людей Вы еще не написали?

– Хотел бы больше написать об Андрее Платонове, о его творчестве, о его жизни, о его слабостях... Но вряд ли мне это удастся, нет времени, да и память уже не та.

– У Вас часто бывают такие определения: маленький, но даровитый писатель, небольшой, но крепкий талант. Из чего Вы исходите в своей классификации?

– У нас сейчас девальвировалось слово «великий». Скажем, какая –нибудь эстрадная певица, которая хорошо поет, является великой. А ей еще очень далеко до этого определения. Конечно, и литература, и искусство не состоят только из гениев или талантов. Есть просто небольшие дарования, но которые ценятся. Например, мы Батюшкова не называем великим. Он родился лет двести назад, а до сих пор читаешь его и восхищаешься. Но какая – то градация все же необходима. Представьте себе, что Вам дают три золотоносные породы. В первой – один процент золота, во второй – пять процентов, в третьей – девяносто. Так к чему ближе порода с одним процентом золота: к нулю или к девяносто? Я считаю, что к последнему. Потому что, отбрось ненужные девяносто девять – и что – то останется.

– Значит, это можно распространить и на опыт советской литературы, где существовала четкая градация, но в зависимости от занимаемой тем или иным писателем должности?

– Мы уже договорились, что советская литература нужна была советской власти. Поэтому титулы, которые давала советская власть, не были случайными. Это зависело от того, насколько тот или иной писатель был ей нужен и насколько хорошо он ей служил. Но, бесспорно, в совет-

ское время были и великие писатели, и крупные дарования. Скажем, Бабель, Булгаков, Гроссман, Платонов, Зощенко, Заболоцкий... Но были и просто хорошие писатели. Ведь хорошим был писатель Григорович, хотя и не великим.

– Сошлюсь опять – таки на Ваше выступление на вручении Вам Пушкинской премии: «В искусстве, в литературе нет прогресса. Далеко не каждый современный писатель, живописец, скульптор, композитор, даже если он удачлив, разбирается в своем деле лучше предшественников, даже самых древних. Слепой Гомер не знал грамоты, посещал, гласит предание, семь городов верхом на ослике, а Лимонов читает, вероятно, на двух языках, летает с материка на материк в самолете, но он не только по таланту, он по уму и образованности дикарь по сравнению с Гомером, а самое главное – по высоте и глубине понимания человека отстает от Гомера на много веков. В сущности, то же самое может сказать о себе ваш покорный слуга». Следовательно, вслед за Золотым и Серебряным веками литературы не обязательно наступит Бронзовый, а то и Бриллиантовый?

– Почему мы называем Серебряным век, который длился примерно двадцать лет? Почему не Золотым? Ведь в то время жили великие писатели! Я исключаю Толстого и Чехова: первый прожил в Серебряном веке десять лет, второй – четыре года. В Серебряном веке, повторюсь, жили великие писатели. Но не было гениев. Если говорить о поэтах, у нас в России три гения: это Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Если называть прозаиков – Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. Я, конечно, высказываю свое мнение. Что будет дальше, я не знаю, мы с Вами не можем определить. Но, исходя из величия русской литературы, надеюсь, что все встанет на свое место. Ведь возник в самое тяжелое время великий писатель Солженицын. Почему этого не может произойти снова?

Лидия Чуковская. Завещание Люше

Лидия Корнеевна Чуковская интервью не признавала, не любила этот жанр в принципе. Сколько бы раз я ни звонила, она охотно говорила со мной на любые темы (а слушать она умела и откликнулась замечательно), но как только речь заходила о том, чтобы перенести нашу беседу на газетную полосу, неизменно отказывалась.

Она считала, что в разговоре ненаходчива, что ей нужно долго взвешивать свои слова, ибо привыкла отвечать за каждое и потому доверяла мысли бумаге, но не интервьюеру. Одно лишь предположение, что какая то фраза будет написана не так, как она ее произнесла, что без ее ведома могут что – то вычеркнуть, что – то исправить, вызывало у нее стойкое неприятие.

Травля, устроенная в 1974 году секретариатом Московской писательской организации и разными партийными бонзами, исключение из писательского союза, годы литературного «несуществования», газетное вранье, запрет не только издавать ее книги, но даже ссылаться на уже изданные, только способствовали еще большей ее бескомпромиссности. А последовавшие через полтора десятка лет демократические перемены принесли широкую литературную известность, но отнюдь не спокойствие за безопасность своих авторских прав. Должна сказать, что для меня в те годы был полной неожиданностью сборник стихотворений Лидии Корнеевны «Горизонт». Я, как и многие, читала ее «Открытые письма», «Софью Петровну», «Записки об Анне Ахматовой». И вдруг стихи, лирика... А она ведь честно описала в «Записках...» не очень лестное мнение о них Анны Андреевны.

Через четыре месяца после ее смерти (в феврале 1996 года) Елена Цезаревна (Люша), дочь Лидии Корнеевны, на этот мой вопрос возразила:

– Это не совсем так. По ташкентским записям видно, что Ахматова как – то даже хвалила Лидию Корнеевну, говорила, что стихи нужно печатать. Но в общем Вы правы, мнение было не очень лестным. Л.К. рассказывала, что порой Анна Андреевна, не желая обидеть поэта, ждущего ее отзыва, говорила: «Знаете, это очень Ваше». Так вот, безо всякой обиды могу удостоверить: стихи Л.К. похожи на нее саму – очень цельные, очень грустные... Как – то в одном споре она с раздражением сказала: «А я вот больше всего дорожу тем читателем, который любит мои стихи».

И вот на посмешище мира,
Смущенье свое не тая,
Выходит не муза, не лира,
А жизнь прожитая моя.
Ее подчистую украли.
Ее по листочку сожгли.
Не в карты ль меня проиграли?
Не химией ли извели?

– И все – таки главной ее книгой считаются «Записки об Анне Ахматовой». Лидия Корнеевна придерживалась такого же мнения?

– Какое – то время она считала своей главной книгой «Софью Петровну». Потому что тридцатые годы в Ленинграде (события в повести происходят именно тогда), годы, когда была разгромлена редакция Маршака, в которой она работала, когда был арестован и расстрелян ее муж, а подруги отправлены в Большой Дом, когда весь ее привычный круг закачался, долгое время были для нее самыми важными. Она написала повесть в 1939 – м, через год после расстрела мужа. Написала очень быстро, и потом толстую школьную тетрадь пришлось долго

прятать, хранить ее дома было невозможно: уже были произведены три обыска и полная конфискация имущества.

Пока Лидию Корнеевну печатали на родине, главная работа была о Герцене. Это тоже, как и стихи, часть ее души. Она им много занималась, часто цитировала и считала, что он незаслуженно у нас забыт. Собрание сочинений Герцена сплошь испещрено ее заметками.

Но, конечно, «Записки об Анне Ахматовой» – труд всей ее жизни. Вот Вы говорите о ее нелюбви давать интервью. Но парадокс в том, что Лидия Корнеевна вообще не любила печататься. Она была воспитанницей маршаковской редакции и всегда рассказывала, как трудно было вырвать у Маршака рукопись. У нее – еще труднее. К тому же писание ее книг пришлось на то время, когда никто у нее никаких рукописей не вырывал, наоборот, непонятно было, как их вообще печатать. На книжных полках в комнате Л.К. стояли папки с готовыми рукописями, которые она никогда не предлагала к изданию. Просто писала и ставила на полку. Даже «Записки...», которые в конце концов напечатали, оказались опубликованы потому, что Лидия Корнеевна подарила рукопись Корнею Ивановичу. А он давал читать одному, другому... Потом из рукописи кто – то стал переписывать целые куски и публиковать без всяких ссылок, что приводило автора в негодование. И я стала ее убеждать, что книгу надо напечатать, хотя бы для того, чтобы защитить. Так как здесь это было невозможно осуществить, Лидия Корнеевна переправила рукопись Ефиму Григорьевичу Эткинду в Париж, и в 1976 году появился первый том «Записок...» во Франции, в издательстве «И М К А – П р е с с».

– Но сначала во Франции была опубликована «Софья Петровна»...

– Эта вещь вышла без ведома автора, по рукописи, которая ходила в Самиздате. Издатели самовольно изменили название и имена некоторых персонажей.

– И чем это объяснялось?

– В Париже в то время был русский театр, где ведущая актриса носила то же имя, что и героиня повести. Были и другие совпадения. Л.К. перемены в тексте крайне удручали, она считала имя своей героини нарицательным. Следующая книга «Спуск под воду» также вышла без ведома автора, «Записки об Анне Ахматовой» Л.К. передала издателю сама. Вы знаете, какая это сложная работа, со множеством сносок и примечаний. Нельзя было допустить, чтобы напечатали ее тоже кое – как.

Там же, в Париже, вышли стихи, книга «Процесс исключения», где Лидия Корнеевна рассказала о том, как ее исключали из Союза писателей, и о судьбе «Софьи Петровны, чуть было не напечатанной в «оттепель», и о музее в Переделкине, и о выигранном судебном процессе, и о том, уезжать или нет...

– Такой вопрос для нее существовал?

– Для нее – нет. Но вокруг нее – безусловно. Сама она была всегда противником эмиграции и горевала по поводу того, что многие дорогие ей люди оказались вынуждены уехать.

– Но она их не осуждала?

– По – разному. Иногда говорила: «Мне надоело, что выбирают не меня».

– В последний раз, когда я ей звонила, Лидия Корнеевна сказала, что очень занята, готовит к печати третью книгу об Ахматовой. Она успела эту работу закончить?

– Почти. Не успела дочитать 75 страниц. Она постоянно возвращалась к «Запискам...», дополняя их новыми примечаниями, ведь в последние годы шел огромный поток публикаций, связанных с событиями, описываемыми в книге. Скажем, дело Гумилева, дело Мандельштама, дело Бродского... в «Неве» была уже третья публикация этой вещи.

– Отношения с Ахматовой как – то повлияли на ее восприятие Гумилева?

– Думаю, отношения с Ахматовой тут ни при чем. Просто стихи Гумилева Л.К. любила меньше, чем стихи Блока или Ахматовой. А самого Гумилева она хорошо знала и даже вспоминала, как он приходил к ним домой (Гумилев жил по соседству, на Манежной) за детской ванночкой. Младшая дочь Корнея Ивановича и дочь Гумилева Леночка были одних лет.

А к Ахматовой у Лидии Корнеевны действительно отношение было особенное. Она участвовала в составлении многих ее книг: помогала готовить сборник стихотворений в Ташкенте, книжку 1958 года и последнюю – «Бег времени». Ахматовские тексты она знала наизусть все, могла цитировать их с любого места.

– Насколько мне известно, Корней Иванович приучил дочь к ведению дневника, который и стал впоследствии основой для многих ее произведений.

– В последние дни болезни Л.К. нам позвонила одна французская студентка, которая собиралась писать дипломную работу о дневниках Корнея Ивановича. Ее интересовало, как Чуковский учил своих детей писать дневник. У меня этот вопрос прежде не возникал, но я успела задать его Лидии Корнеевне. Она рассказала, что в 13 лет отец подарил ей толстую тетрадь, чтобы вести дневник, и сказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на твоих глазах. Не рассчитывай на кого – то, кто будет читать, а пиши для себя». Затем периодически дарил такие же тетради. И они действительно стали для нее большим подспорьем в работе.

– Стихи из того же дневника?

– Отчасти, многое записывала отдельно, да и об Ахматовой вела отдельный дневник.

– А как Вы считаете, Анна Андреевна об этом знала?

– Не знала, но, думаю, догадывалась.

– Дневник Лидия Корнеевна вела до последнего дня?

– До последнего для она читала стихи. Слушала радио. А дневник писала до тех пор, пока окончательно не слегла.

И наконец самой собою
Я заслужила право быть.
Стучать о стенку головою,
Молиться или просто выть.
Надежда – поздно, слава – поздно,
Все поздно, даже быть живой...
Но, Боже мой, как звездно, звездно...
Лес. Я. Звезда над головой.

– Когда в 1974 году Чуковскую исключали из Союза писателей, ей предоставили слово для оправдания. Она вновь упрямо заговорила о Сахарове и Солженицыне, предсказала, что в Москве неизбежны площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова. Но даже без этих предсказаний во время ее речи шум поднялся такой, что Лидия Корнеевна уронила бумаги с заготовленной речью на пол и, собрав их в охапку, уже не смогла разобрать, где какая страница. Но не сдалась, не замолчала. Ни тогда, ни потом. Судя по публицистике, кроме литературы, ее также весьма волновала политика. Думаю, в наши дни нашлось немало желающих привлечь ее к подписанию какого – нибудь из многочисленных открытых писем, обильно появляющихся в печати?

– Ну, собственное мнение у нее было всегда. И ее невозможно было ни во что втянуть. Она сама все решала. После смерти Л.К. ее английская переводчица привезла из Лондона вырезки многочисленных некрологов, напечатанных за границей. Знаете, я даже расстроилась. Там ее представили этаким литературным борцом, интересующимся только политикой. Как это неверно применительно к Лидии Корнеевне! В ее цельном мироощущении ее интересовали вопросы добра и зла, справедливости и несправедливости, волновали судьбы окружающих людей, судьба культуры и языка. Именно в связи с этим она и сталкивалась с политикой. Но политическим деятелем она не была, не продумывала никаких ходов, не обладала государственным стратегическим мышлением и каждый раз бралась защищать конкретного человека,

его судьбу. Очень любила и уважала Андрея Дмитриевича Сахарова, но это тоже имело отношение не к политике, а к ее представлениям о справедливости. Наоборот, когда Сахаров стал депутатом, они уже значительно реже виделись. Когда же началась перестройка и стало возможно и подписывать, и выступать, она это делать перестала решительно.

Я никем не хранима.
Я только судьбой хранима.
И если бомба мимо,
И черный ворон мимо —
Это она захотела
Сберечь мою душу и тело
Для какого – то дела,
Мне неизвестного дела,
Это ее дело.

Арсений Тарковский. Здесь на него похожих нет

Однажды, это было в 1955 году, Арсений Александрович Тарковский заехал на Щипок за дочерью Мариной и сказал: «Собирайся, поедem к Анне Андреевне на Ордынку». Но из – за своей безумной – в те годы – застенчивости она отказалась от этого визита и не увидела двух замечательных поэтов – отца и Ахматову – вместе, не услышала их разговора и, как призналась, этим «обеднила свою и без того нелегкую жизнь». Но зато она прожила многие годы рядом с братом, Андреем Тарковским, была душевно близка с отцом, тяжело пережила их смерть, а еще раньше – смерть матери, Марии Ивановны Вишняковой, первой жены поэта. И написала о бесконечно любимых и родных ей людям прелестную книгу – «Осколки зеркала». Очень хорошую книгу, искреннюю, горькую и светлую.

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост...

Когда готовилась к беседе с Мариной Тарковской, в одной из статей об Андрее Тарковском я прочитала, что он понял и простил своего отца за уход из семьи, что, включив стихи Арсения Александровича в свой фильм «Зеркало», обессмертил его талант. И спросила при встрече (шел октябрь 1997 года):

– Марина Арсеньевна, вы с братом оба воспринимали уход отца из семьи как измену?..

Она удивленно вскинула на меня взгляд и спокойно сказала:

– Андрей для своего фильма выбрал из стихов папы то, что больше всего любил, что было ему близко и касалось – так думал Андрей – нашей матери. Но осуждать или прощать отца, я уверена, он не считал себя вправе. Воспринимать уход как предательство? Нет, такого не было. Не было – во многом благодаря маме, которая нас обоих вырастила в любви и уважении к отцу.

– Уже после смерти в Париже Андрея Тарковского я увидела в редакции «Литературной Газеты» Арсения Александровича. Он шел по коридору, тяжело опираясь одной рукой на костыль, другой – на палку, и выглядел, что называется, совершенно убитым. Мы в отделе давно вели с ним телефонные переговоры об интервью. Все как – то не получалось. А тогда, встретив его в газете, я была настолько потрясена его видом, что даже не поздоровалась. Потом мы, конечно, делали еще несколько попыток договориться о беседе, но Арсений Александрович к телефону уже не подходил. Через год его не стало...

– Андрей уехал в 1982 году, хорошо помню день: 6 марта. Он поехал в Италию, в официальную командировку, для работы над «Ностальгией». И, конечно, никто из нас не думал, что это прощание – навсегда. С отцом они были очень близки и очень любили друг друга. Но остался он, не посоветовавшись ни с папой, ни со мной. Это была неожиданность и большой удар для отца. Но я никогда не слышала от него слов упрека. Он абсолютно доверял решению сына. Для папы это было тяжело еще и потому, что в последние годы он много болел, а жить ему приходилось – не по своей воле – в домах творчества. Представляете, каково было жить инвалиду без ноги в Доме творчества «Переделкино», где душ общий в конце коридора... Но его третья жена, Татьяна Алексеевна Озерская, предпочитала дома казенные, где он был по – настоящему одинок. Говорил мне, что такая, как он называл, публичная жизнь дается ему

мучительно. И часто бестактность окружения, жесткость людей, с которыми он общался, его травмировали.

Татьяна Алексеевна, не знаю по каким причинам, возможно, из самых лучших побуждений, старалась его оградить от нежелательных известий, даже от известий о тяжелой болезни Андрея. Понимаете, папа ничего не знал. И когда 29 декабря 1986 года Андрея не стало, для папы это было неожиданным и страшным ударом.

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.

– Вас что, не пускали к отцу?

– Нет, я часто навещала папу. Просто Татьяна Алексеевна просила меня не говорить ему о болезни Андрея. Я постоянно предлагала папе любую помощь – свою, своих детей. Потом была больница, и уже было ясно, что папе осталось недолго, но мне не разрешили взять его к себе, чтобы хоть последние месяцы он провел в домашней обстановке. Об этом тяжело говорить, это наша семейная драма. Папа умер в больнице...

– И в жизни Арсения Александровича, и в жизни Андрея Арсеньевича, так получилось, был не один брак. Сын как бы повторял судьбу отца.

– Самое удивительное, что моя мама в письме к папе на фронт так и написала: «За Марину я спокойна, а Андрей повторяет твою судьбу». Андрею тогда было лет десять.

– Повторяет или повторит?

– Повторяет, потому что она уже тогда видела в Андрее его отца. Первый раз Андрей решил жениться в восемнадцать лет и написал об этом папе. Тот ему ответил пространным письмом, где очень деликатно пытаюсь отговорить Андрея от слишком раннего брака (сам Арсений Александрович женился в девятнадцать), как раз и говорил о том, как они похожи. Что оба бросаются в чувство, в любовь, как в колодец, очертя голову, не думая. Оба были людьми очень сильных страстей. И если кто – то на их месте еще стал бы рассчитывать, рассуждать, они – никогда. И папа, зная этот грех за собой, пытался предупредить сына, чтобы тот не повторял его ошибок.

– И сын его послушался?

– В данном случае брак не состоялся, но не потому, что Андрей прислушался к папиным словам... Позже, в других ситуациях, он уже никого и не спрашивал, не советовался. Но Андрей так любил отца, что и внешне хотел на него походить и поступками, и даже почерком. Я помню, как он старательно выводил свою подпись так, чтобы она была похожа на подпись папы. Советовался Андрей с папой по поводу своей работы – мнение отца было для него очень важно. Знаю, что папа читал сценарий «Андрея Рублева».

– Такая семья, как Тарковские – отец и сын, – необычайная редкость. Но, скажите, Марина Арсеньевна, если бы мы с Вами провели опрос «Кто такой Тарковский?», что бы мы услышали?

– Большинство молодых людей ответили бы: «А кто это такой?» Я даже была свидетелем подобных ответов около бывшего нашего дома на Щипке, когда корреспондент телевидения опрашивал молодых людей, проходивших мимо. Они просто не знали этой фамилии. Другие, возможно, скажут, что есть два Тарковских: поэт и режиссер. Да, возможно, скажут. Так получилось, что и папа, и Андрей дебютировали в 1962 году: папа – ему было 55 лет – первой книжкой «Перед снегом», Андрей – фильмом «Иваново детство». И фильм «Иваново детство» достаточно широко прошел по Москве. Это «Зеркало» демонстрировалось только в трех кинотеатрах. Бывало, папа выступал на поэтических вечерах, например, в МГУ, студенты ему яростно хлопали – за сына. Конечно, здесь могло возникнуть некоторое соперничество. И, что

греха таить, папина жена очень ревниво относилась к успехам Андрея, но у папы этого чувства не возникало. Он вообще был человеком поразительной высоты: душевной и нравственной. Был очень добрым, но и принципиальным. А уж сыном попросту гордился.

Вечерний, сизокрылый
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.
Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой...

– О ком Вам легче говорить – о брате или об отце?

– Одинаково трудно говорить об обоих. Но, наверное, об Андрее все же труднее. Для меня Андрей был как бы близнецом. Я его очень любила. Когда папа ушел из семьи, мне было два с половиной года, Андрею – четыре. Конечно, его уход для нас обоих был сильнейшей травмой. Ведь существует память физическая: прикосновения, объятия, голос... И встречи с папой до определенного возраста были для меня просто мучительны. Я не могла с ним разговаривать, я всегда плакала. Но с Андреем – то мы росли вместе. Став взрослым, Андрей говорил, что детство в жизни человека играет решающую роль. И сам он только в последние годы освободился от бремени детских комплексов и воспоминаний.

– Был период, когда на огромных рекламных щитах по всей Москве красовалась строчка: «Из тени в свет перелетая...». И соответствующий рекламный рисунок – три бабочки. Мало кто обращал внимание на то, что строчка эта из стихотворения Арсения Тарковского. Об авторском праве я вообще молчу...

– Знаете, я была возмущена тем, что без разрешения наследников была использована эта строка. И через некоторое время после появления рекламы, если Вы обратили внимание, она была снята. Это мы попросили ее убрать. Достаточно противно, что стихами такого поэта, как Тарковский, рекламировали сомнительные финансовые пирамиды. Но однажды в толпе я услышала, как люди перекидываются друг с другом этой строчкой, и подумала: «А может, и хорошо, что эта прекрасная строка о бабочке в госпитальном саду хотя бы так застряла в памяти людей?»

Из тени в свет перелетая,
Она сама и тень, и свет,
Где родилась она такая,
Почти лишенная примет?
Она летает, приседая,
Она, должно быть, из Китая,
Здесь на нее похожих нет
Она из тех забытых лет,
Где капля малая лазори
Как море синее во взоре...

– А чего – то неожиданного еще можно ждать от архива Арсения Тарковского, который сейчас, правда, закрыт наследниками, но ведь когда-то откроется? Неизвестные стихи, проза, письма?

– Сам Тарковский очень внимательно, я бы даже сказала, с большим уважением относился к своему творчеству. Для него поэзия была смыслом жизни, оправданием его существования на земле. Поэтому все, что писалось им в зрелые годы, заносилось в тетради, датировалось, а часто ставилось и название населенного пункта, где стихи были написаны. По военным стихотворениям можно проследить его путь на войне. Поэтому открытий в творчестве зрелого Тарковского скорее всего быть не может. Две последние книги – «От юности до старости» и «Быть самим собой» – из – за тяжелого недуга уже не составлялись самим Арсением Александровичем. И потому вышли в свет стихи, которые автор по художественным или этическим соображениям не публиковал.

А то, что осталось неопубликованным, – это юношеские стихи, к которым сам Тарковский никогда не относился серьезно. Эти стихи интересны с литературоведческой точки зрения как первые опыты великого поэта.

– А на какое время закрыт архив?

– На неопределенное.

– Но почему его закрыли? Вы сами сказали, что большая часть поэтического наследия Вашего отца опубликована. Так к чему закрывать известные вещи? Или там есть нечто, что было бы нежелательно публиковать?

– Архив закрыт потому, что близким Арсения Александровича очень тяжело представить себе, как чьи – то чужие руки будут перебирать папины рукописи, письма, семейные документы... Я к этому пока не готова. Знаете, после смерти Андрея его личные дневники сразу же стали кусками использоваться и весьма неоднозначно воспринимались, потому что отнюдь не были предназначены для печати, а лица, которые упоминаются на их страницах, еще живы. А сейчас и того больше – вышли отдельными книгами, но в немецком издании ... с купюрами и личной правкой публикаторов. Нет уж, по мне, лучше публиковать дневники через 50 лет после смерти их автора, согласно архивным правилам.

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.
Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольникова с виду.
Как скрипку, я держу свою обиду.
Терзай меня – не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день – с иголкой в гортани.
А! Этот сон! Малютка – жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

Тонино Гуэрра: «Я люблю только слова.»

За почти полвека работы в кинематографе знаменитый итальянский кинодраматург Тонино Гуэрра, по собственному признанию, сделал более ста фильмов. Работал с Феллини, Антониони, Дамиано Дамиани, Де Сантисом, Андреем Тарковским... А еще он замечательный поэт, эссеист и ... дизайнер фонтанов.

– Вы найдете нас легко, – сказала Лора Гуэрра, – желтый дом у Красных Ворот, прямо напротив большой кучи строительного песка. Это дом, где выросла я, где жили мои родители... Ориентир оказался весьма наглядным. Не знаю, останется ли монументальная рукотворная гора 2000 года рождения в кадрах фильма, который снимали в тот день телевизионщики, с трудом уговорившие автора «Амаркорда» постоять минуту – другую на балконе желтого дома (Тонино Гуэрре очень не нравился висячий балкон), но, думаю, образ одинокой песочной кучи обязательно должен как – то проявиться в творчестве писателя – неореалиста. Ибо, по его убеждению, настоящий сценарист должен каждый день наполнять голову новыми выдумками. «Я не пишу сейчас сценарии, – говорит он, – мне не хочется этим заниматься, но все равно постоянно собираю какие – то вещи, детали, разговоры... Вот, скажем, недавно мне рассказали про старушку лавочницу из Сан – Марино. Это была очень бедная старушка. И когда у нее в лавке закончились товары и нечего было выставить в витрине, она встала в витрину сама. Кто – то из знакомых, проходя мимо, поинтересовался: «Как твои дела?» «Сегодня – хорошо, – ответила лавочница, – потому что прошла собака и заметила меня».

Проводив телевизионщиков, ответив на многочисленные телефонные звонки, Тонино Гуэрра, нервничавший до этого на балконе, сел в кресло и успокоено спросил:

– Кофе хочешь?

– Спасибо, нет.

– А яблоки любишь?

– Спасибо, я не хочу.

– Странная какая! Кофе не любит, яблоки не любит. А поцелуи любишь?

Я (ввергнутая в краску):

– Я все люблю! Но боюсь, что снова кто – то придет или позвонит и мы не успеем поговорить...

– Не успеем поговорить о чем?

– О Ваших сценариях, о режиссерской работе с Феллини, о фильмах «И корабль идет», «Амаркорд»...

– Я абсолютно уверен, что «Корабль» интереснее и выше, чем «Амаркорд». Жаль, что его мало кто видел в России. Хочу объяснить тебе одну вещь. Мы, итальянцы, никак не можем понять, что такое «режиссерский сценарий», в итальянском кино его нет. Когда у нас пишется сценарий, когда мы дискутируем с режиссером и принимаем вместе решение, потом – в «режиссерском сценарии» – уже ничего не меняется. Сейчас, например, я работаю над одним фильмом вместе с Ангелопулосом, которого считаю одним из великих режиссеров современности.

Повесть «Амаркорд» вышла на три месяца раньше, чем фильм. Их можно сравнить, и тогда станет ясно, что в фильме ничего без ведома автора не было изменено. Тем не менее, конечно же, главный автор фильма – это режиссер.

«И корабль идет» мы написали с Федерико Феллини за двенадцать утр. На тринадцатое он меня спрашивает: о чем ты думаешь? Я ответил, что меня чрезвычайно интересуют похороны великих людей. Сталина, например. Или замечательного красавца, актера кино Рудольфо Валентино, на похоронах которого тоже была масса народу. И когда площадь, где проходила

панихида, опустела, на асфальте остались сотни рукавов от пиджаков. Это те, кто был меньше ростом, хватали впереди стоящих за рукава и тянули вниз, чтобы что –нибудь увидеть. «А ты, – спросил я, – о чем ты думаешь?» «А я думаю о карабинерах, – сказал он. – Я хочу снять большой парад. И все это на лошадях. Потом вдруг лошадь одного карабинера спотыкается. За ней другая, третья, четвертая, пятая... И падают все, и рушится порядок, и рушится все... То есть рушится, может быть, мечта...» На следующее утро я снова говорю: «Ты знаешь, какие были похороны Марии Каллас? Маленький пароход плывет к острову, где она родилась. Каллас просила, чтобы те, кто будет сопровождать ее останки, развеяли прах возле этого острова. Представь себе, какой замечательный можно снять фильм: пароход везет прах великой певицы...»

– Сегодня, – вторгаюсь я в воспоминания Тонино Гуэрры, – любят смотреть фильмы о любви. Двадцать пять лет назад, приехав в Москву по своим делам, вы увезли в Италию женщину с пышными рыжими волосами и боттичеллиевским цветом лица – Лору, вашу жену. Не хотелось написать киносценарий об этом?

– Слушай, – он смотрит на меня почти с восхищением, относящимся, впрочем, совсем не ко мне, а к Лоре. – Хотел много раз. Когда я впервые увидел Лору, то все сразу понял. Я знал тогда несколько русских слов. Она – ни слова по – итальянски. И я отправился пешком на Птичий рынок, купил маленькую клетку. – Он вскакивает с кресла, подбегает к красивому, причудливо вырезанному деревянному буфету (позже я узнаю, что и этот буфет, и торшер в виде паруса, сконструированный из гладильной доски, и другая необычная, красивая мебель в комнате имеют одного автора – Тонино Гуэрру) и взмахивает рукой вверх, туда, где стоят птичьи клетки, заполненные всякой всячиной: раскрашенными глиняными фигурками, комочками бумаги... – Потом, – продолжает он вдохновенно, – я взял бумагу и карандаш и стал писать слова любви. Скомкав исписанный лист, положил его в клетку и принялся за другой, потом за третий, четвертый, пятый... И отдал эту клетку Лоре. Один человек, знавший итальянский, целый час переводил ей мои записки. И она уже понимала все о моей любви. Эту историю, этот маленький эпизод я подарил братьям Тавиани, он есть в одном из их фильмов.

– Вы каждое утро начинаете с работы ?

– Каждое утро в Италии я начинаю с того, что слушаю Рахманинова. Наверное, и в России кто – то каждое утро включает и слушает Верди...

– ...или смотрит итальянское кино. То «поэтическое кино», о котором вы уже много лет твердите, что за него нужно бороться.

– Наш общий враг – и итальянского, и французского, и русского кино – это прежде всего английский язык, захвативший все кинорынки. А европейские языки давно стали «местными языками». Если, скажем, сейчас мы сделаем итальянско – русский фильм и его вдруг захотят купить американцы, дубляж будет стоить в три раза дороже, чем сам фильм. Проблема европейского кино очень сложна и потому, что нынче успех кинопродукции определяет наличие сложной, дорогостоящей техники, компьютерной в том числе. Сплошные спецэффекты. Зритель – особенно молодой – очень все это любит. А более старшие предпочитают, сидя дома, нажимать кнопки переключения программ телевидения: не понравится один канал – посмотрим другой, третий. Церемония похода в кинотеатр отмирает, и это настоящая проблема для кинематографа. И все же люди начали уставать от фильмов всего лишь сверхтехнических (что характерно для современного американского кино) и, я думаю, постепенно возвратятся к кино «поэтическому». А такое кино присуще прежде всего европейскому кинематографу. Философских вопросов много: кто мы есть в этом мире и почему, куда мы идем... Они все остаются. Как их решать – это уже другой вопрос. Но делать фильмы в старой поэтической манере уже опасно. Это верный проигрыш. Я езжу на велосипеде, но при этом не считаю, что автомобиль не нужен.

– А в какой манере сейчас «не опасно» работать?

– Возможно, ответ на этот вопрос где – то в промежутке между нынешним сентиментальным телесериалом и супертехническими эффектами.

– В период правления Муссолини были придуманы кинофестивали, для того чтобы оказывать кинематографии коммерческую поддержку. Попытка сделать некоммерческий фестиваль, предпринятая после войны, полностью провалилась. А в наше время такой фестиваль, скажем, «поэтического кино» возможен?

– Думаю, нет. Но фестивали как раз любят «поэтическое кино». Я, кстати, восемь раз получал призы в Каннах. И если фильм попадает в фестивальную программу, то это гарантия того, что народ на него пойдет.

– Поэтическое кино в России. Кого здесь Вы считаете единомышленниками?

– Не хочу останавливаться на персоналиях, но, скажем, Тарковский – большой художник, которого любит мир.

– И Параджанов?

– Нет, Параджанов – армянин, так же как Иоселиани – грузин. Я был дружен с Параджановым, ездил к нему в Тбилиси, а затем мы вместе отправились в Армению. О путешествии я написал книгу «Теплый дождь» (в Италии она была отмечена премией) и был поражен, когда один совершенно незнакомый мне человек в Москве сказал, что знает эту книгу, что читал ее. Сергея Параджанова я тогда не называл Параджановым. Нельзя было. Такое было время. Я его называл – Агаджанян. Поэтический Параджанов в кино. Он как воздух, как сказка. Если мне трудно, плохо, если раздражает все: улицы, машины, я смотрю какой –нибудь параджановский фильм. И все становится другим, и я становлюсь другим.

– Ваше пристрастие к кино поэтическому исходит из Вашей писательской сути?

– Я всего лишь поэт. Я люблю только слова.

– И никогда не хотели заниматься режиссурой?

– Предложений поставить тот или иной фильм было много. Но я всегда был рабом слова. Для меня только слово дает возможность представить себе любые образы, мечтать и вообразить то, что хочешь. Скажем, образ Распутина на киноэкране я принимаю. Но когда читаю книгу, то мой Распутин может предстать мне совсем другим – маленьким блондином, может быть. Кино, конечно, великое искусство, но литература – великая тайна.

– Вы и сейчас пишете стихи?

– А ты читала мои стихи, напечатанные в «Литературной газете»?

– Да, очень хорошие переводы Беллы Ахмадулиной.

– Ты симпатичная, – ставит диагноз Тонино Гуэрра. – Говоришь поэту не о самих стихах, а о том, что переводы – хорошие. Да, я по – прежнему пишу стихи. Не много. И в иной поэтической манере. Но больше, – обводит взглядом комнату, – делаю мебель и рисую картины. По моему рисунку в Италии сегодня строится фонтан. Его стоимость – около 300 тысяч долларов. Я за него не получу ни копейки, но все равно волнуюсь: хорошо ли сочинилось, все – таки фонтаны – не моя профессия.

Когда, закончив интервью, мы прощались, Тонино Гуэрра напомнил:

– А как же – поцеловать?

Я поцеловала его в щеку – она была прохладная, свежая, пахла хорошим одеколоном – и от волнения наступила ему на ногу.

– Извини, – сказал маэстро, – но мне придется ответить. Такая примета.

Лошадиная лихорадка

Моя мать целовала меня.

Весь ее: с головы до пят.

И, прекратив целовать,
целовать принималась опять.
Время шло, и прошли времена.
Мой отец все стоял вдалеке —
ни надежды и ни ожидания,
что приблизится он иль приближусь я сам,—
и никогда не позволил руке
прикоснуться к моим волосам —
заскорузлой руке, осязавшей лишь силу желанья
незаметно коснуться меня.
Тот же тайный озноб сотрясает коня:
эта дрожь, став движеньем,
его бы стремглав понесла,
но – узда и нельзя.

Перевод Беллы Ахмадулиной

Сергей Голицын. Записки русского дворянина

В тот год, 1989 – й, когда мы встретились с Сергеем Михайловичем Голицыным, ему исполнилось 80 лет. Автор пятнадцати хороших книг, человек уникальной судьбы и памяти, невероятного, по тем временам происхождения (потомок знатного княжеского рода Голицыных, ведущего свою историю с XIV века), интереснейший собеседник, он многие годы оставался в тени литературной славы своих коллег по профессии. Между тем и о нем, и ему самому было что рассказать.

Голицын считал, что «перестройка» дала ему уже много: в тот момент ждали выхода в свет в типографиях две его новые книги – «Сказания о земле Московской» и «Село Любец и его окрестности». Забрехала надежда, что, может быть, опубликуют и его главное произведение – «Записки уцелевшего», отдельные главы которого уже взялись напечатать периодические издания. Рукопись целиком он сдал в издательство «Советский писатель».

Это повествование не только о жизненном пути писателя вплоть до ухода на фронт в 1941 году, о его семье и близких, но и об истории России, событиях, свидетелем которых был он сам и о которых узнал из мемуаров и дневниковых записей, сохранившихся в семейном архиве Голицыных. И, конечно, о том, кто они такие, дворяне, почему после революции сочли необходимым уничтожить этот культурный слой общества, по возможности, с корнем, а в нас, потомках, воспитывали презрение и ненависть «к проклятым эксплуататорам». Один из коллег – писателей сказал о Голицыне: «Если бы в наши собрания не заходили изредка такие люди, как Сергей Михайлович Голицын, наши нынешние представления о русском дворянине были бы сильно скособочены».

Он начал писать свои «Записки» в 1972 году, тайно от всех, а верная машинистка, Татьяна Николаевна Щипанова, перепечатывала. Ее муж, крупный ученый, еще до войны и задолго до Норберта Виннера начал «изобретать кибернетику», но был арестован и двадцать лет просидел в «сверхсекретной шарашке». А вернувшись из заключения, вскоре умер. Вдове ученого Голицын доверял полностью. Готовые листы, помня о судьбе рукописей Василия Гроссмана и Виктора Некрасова, Сергей Михайлович тут же разносил в три тайных места. Время еще совсем не способствовало появлению подобных крамольных произведений. Одним из эпиграфов к рукописи были строки из такого же крамольного сочинения «Архипелаг ГУЛАГ»: «Эту книгу я пишу из одного сознания долга – потому что в моих руках скопилось много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где – то».

– Я дожил до великих перемен в стране, – сказал мне тогда Голицын. – Все три экземпляра вернулись на мой стол, и я начал их обрабатывать, шлифовать и всем уже рассказываю, над чем работаю. Почему «Записки уцелевшего»? Об этом – вся книга, и особенно последние ее страницы, где я подготовил список только ближайших родных – 16 человек: дяди, родной брат, двоюродные братья, зятя... Из лагерей вернулись четверо, двенадцать погибло, из них на войне – один... Как уцелел я? Моя мать объясняла это своими горячими молитвами, я – еще тем, что два раза меня спасала Екатерина Павловна Пешкова...

Сергей Михайлович дал мне тогда почитать рукопись книги, но я затрудняюсь сейчас точно назвать цифру, сколько же раз Пешкова буквально спасала от гибели всю семью Голицыных, выцарапывала из тюремной камеры отца Сергея Михайловича, с которым была близко знакома еще до революции, да и других членов семьи.

Впрочем, и Пешкова, хотя и помогала людям, была не всесильна.

Рукопись Голицына стала для меня во многом откровением, как за год до нее стала потрясением книга Олега Волкова «Погружение во тьму». Как же мало мы тогда еще знали о собы-

тиях не столь уж и далекого от нас времени! Но ведь еще несколько лет тому назад не знали ничего или почти ничего, что фактически одно и то же. Сергей Михайлович сказал тогда, что многие уцелевшие старики ринулись писать свои воспоминания. Он считал, что эти мемуары исключительно важны. Но полагал, что только в будущем сопоставление их даст историкам полную и правдивую картину истории страны.

Начиная с 1917 года вся жизнь голицынской семьи – сплошная цепь обысков, арестов, выселений, лишений, унижений. И потому не удивительно, что Сергей Михайлович с присутствующим ему юмором вспоминал следующую историю.

– В начале 1918 года, когда в Москве стало трудно с продовольствием, а попросту говоря, начался голод (моей бабушке даже пришлось обменять пейзажи Левитана и Поленова на картошку), пришло письмо от сестры отца тети Веры Бобринской, которая жила в имении графов Бобринских в Тульской губернии. Она приглашала нас всех к себе, писала, что с продовольствием у них благополучно, и самое главное – нет в городе большевиков. Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, какой необычный для нашей современной действительности благородный поступок она совершила – позвала жить чуть ли не 20 едоков!

Мы собрались и поехали. Месяца через два взрослым стало некогда заниматься моим воспитанием и меня забросили. Так я впервые попал на улицу и услышал всякие нехорошие слова. Я спросил свою няню: «А ты по – матерному ругаться умеешь?» Она схватила меня за плечи: «Да ты понимаешь, что это самый страшный грех? За каждое такое слово Богородица на три года отступается!» А был там один вернувшийся с фронта здоровенный солдат Ковалевич, который только и делал, что употреблял такие слова. И я стал ходить за ним по пятам и считать, сколько же раз он их произнесет. Математику я не любил, но это была увлекательная задача. Вечером взял бумажку, написал двухзначную цифру и умножил на три. Цифра получилась потрясающая – выходило, что Богородица отречется не только от Ковалевича, но и от всех его будущих детей, внуков, правнуков и т.д. вплоть до Страшного суда...

Князь Владимир Михайлович Голицын, дед писателя, был в 1897 году почти единогласно избран Московским городским головой. Его супруга, Софья Николаевна, бабушка писателя происходила из знатной армянской семьи Деляновых (Деланян) и Лазаревых, занималась благотворительностью. Владимир Михайлович принес Москве много пользы: вместо конок при нем был пущен трамвай, построен Рублевский водопровод, организована современная нумерация домов, даже начаты были переговоры с англичанами о строительстве метрополитена. Были проведены геолого – разведочные работы, но метро оказалось городу в то время не по средствам. Еще князь Голицын очень гордился тем, что уговорил Павла Михайловича Третьякова передать городу Москве свою галерею. Членом ее совета он состоял до самой революции. Третьяков завещал сделать посещение галереи бесплатным, а на ее содержание выделил определенный капитал. Но, начиная с 30 – х годов, билеты посетителям стали – таки продавать. И Голицын не раз потом сетовал, что завещание близкого ему человека было нарушено. Ушел он в отставку сразу после убийства Баумана в 1905 году. Отправил царю телеграмму, что «не может оставаться на своем посту в городе, где совершаются казни без суда».

Уже в преклонных годах Владимира Михайловича два раза арестовывали (в 1918 и 1919 годах) и сажали в тюрьму. Как и всех остальных Голицыных – за происхождение. Как – то после очередного освобождения его пригласил к себе Каменев, тогдашний председатель Моссовета, извинился «за недоразумение», сказал, что помнит все то хорошее, что делал в свое время для политических заключенных бывший городской голова, и вручил ему охранную грамоту, подписанную еще и Зиновьевым. Ее долго берегли в семье, когда же начался небезызвестный процесс над Каменевым и Зиновьевым и грамота стала «опаснейшей уликой», ее сожгли.

...Сергей Голицын тоже посидел в тюремной камере – одиннадцать дней. Казалось бы, ничтожно мало по сравнению с теми сроками, которые выпали на долю шестнадцати его родственников. Но у всех у них общая судьба, один крестный путь, только для кого – то это были

тюрьмы, лагеря, ссылки, для кого – то существование в вольной жизни с обреченной уверенностью: не сегодня – завтра... Да, некоторые уцелели. Как они жили? На что надеялись? Во что верили?..

Наверное, именно Сергею Голицыну было определено собрать воедино историю своей семьи и ответить на вопросы любознательных потомков, считающих предложения, типа «Нужны ли «записки уцелевших?» абсолютно риторическими.

В скромной двухкомнатной квартире писателя Голицына на Кутузовском проспекте были развешаны уцелевшие семейные фотографии, картины брата – художника – иллюстратора Владимира Голицына, на книжной полке, за стеклом – фотография с портрета деда работы Серова (сам портрет хранится в Русском музее в Петербурге), и там же – толстые папки семейного архива. Спрашиваю, как же удалось сохранить все это и многое ли пропало?

– У меня, – ответил Сергей Михайлович, – сохранились только записки отца, два толстых переплетенных тома. Характерная их черта – о своей личной жизни, о жизни семьи отец пишет сравнительно мало. Воспоминания больше посвящены жизни общественной, даются отдельные куски истории России за тридцатилетний период, чему свидетелем он был. Для будущих исследователей этот труд представит несомненный интерес.

На периодических обысках у нас забирали не только бумаги, принадлежащие взрослым членам семьи, но даже детские письма, такие, например, как письмо моей шестилетней сестренки Кати: «Дорогие мама и папа, приезжайте скорее, у нас есть курица. Катя».

В последующие годы, когда в стране начались массовые аресты, отобранных бумаг оказывалось так много, что их беспощадно сжигали в подвалах Лубянки и других подобных местах. Кто знает, сколько талантливых литературных произведений таким образом исчезло вместе с их авторами, а также миллионами тех, чьи имена лишь «Ты, Господи, веши».

А взятые у нас при обыске пачки писем и документов уцелели. И знаете где? В Центральном Государственном архиве древних актов! Письмо моей сестренки теперь бережно хранится под отдельным номером, под одной крышей с грамотами XVII века, с завещанием Дмитрия Донского, из – за которого многие годы пылала усобица между его потомками. Я смог заглянуть в так называемый «Голицынский фонд», в котором свыше десяти тысяч единиц хранения, от неприличных писем Петра Первого к моей далекой прабабке до наших детских каракулей. Невероятно, но таковы факты!

В семье хранился альбом автографов, который собирала родная сестра моей прабабушки. Там были автографы царей и королей, полководцев, а главное – писателей: Шиллера, Гете, Карамзина, Жуковского, Вяземского, Баратынского, конвертик с волосами Гоголя, письмо Пушкина к жене, и отдельно тетрадка – сказка Лермонтова «Ашик – Кериб», написанная рукой автора.

В очень трудное для нашей семьи время этот альбом купил директор Литературного музея, соратник Ленина В.Д. Бонч – Бруевич. Тотчас же альбом был разодран на куски. Автографы писателей распределили по их именованным фондам, остальное отправили в Центральный государственный архив древних актов...

– Вы говорите, что в «Голицынский фонд» Вам удалось заглянуть не так давно, значит, Ваши «Записки» написаны в основном «по памяти»? Можно ли в таком случае считать, что все эти многочисленные события, даты, имена абсолютно достоверны?

– Память у меня с детства была очень хорошая, а с годами развилась прямо – таки исключительная. Правда, в моих воспоминаниях есть немало сведений, которые зададут задачу будущим историкам. Их разгадка таится в архивах, которые мне недоступны. Ну вот, например, в связи с покушением на Ленина я знаю такую историю. В 30 – х годах у моего брата Владимира был знакомый – молодой литературовед Владимир Гольцев (Владимир Владимирович Гольцев в 1949 – 1955 годах был главным редактором журнала «Дружба народов» – *И.Т.*), который ему рассказывал, что мальчиком увлекался коллекционированием автографов, были у него авто-

графы Керенского, Троцкого, Свердлова, Каменева, Зиновьева... А автограф Ленина он никак не мог достать. Узнав, что Ленин будет выступать на заводе Михельсона, Гольцев отправился туда и, улучив момент, подсунил ему бумажку. Ленин обернулся, сказал, что просьбы подаются туда – то. Гольцев стал объяснять, что это не просьба, что ему нужен автограф. Ленин нагнулся и поставил подпись. И в этот момент Фанни Каплан бабахнула в него из револьвера. Он упал. Испуганные рабочие бросились врассыпную. Был момент, когда рядом с Лениным остались только Каплан и Гольцев. Каплан побежала в одну сторону, Гольцев с бумажкой в руке – в другую. Потом газеты писали, что у Каплан был сообщник, одетый в гимназическую форму. Этот сообщник, чтобы отвлечь Ленина, перед самым его выступлением подал ему какую – то бумагу. Гимназист, мол, скрылся, но ведутся поиски.

Современные писатели, пишущие о Ленине, этот факт отрицают. До тогдашних газет я не имел возможности добраться и проверить, но на картине художника Пчелина, кстати, неудачной картине, рядом с Каплан изображен гимназист. Несколько лет назад вдова Гольцева рассказала мне, что, действительно, у мужа была коллекция автографов и среди них – автограф Ленина. Но в войну вся коллекция пропала.

Знаете, Ирина, я много писал о Ленине, и старался это делать объективно. Но факт остается фактом, куда от этого уйдешь, народ встретил его кончину совершенно равнодушно, народ безмолвствовал...

– Простите, как равнодушно? Нас все время уверяли, что рабочие и крестьяне были страшно подавлены. Это неправда?

– Нет, отдельные крестьяне и отдельные рабочие были не равнодушны. К тому же, знаете ли, гудки в Москве так гудели... и это действовало гипнотически. Я, между прочим, стоял в очереди к гробу Ленина. Я видел его в гробу. Мороз был тогда страшный...

– Вам ведь в тот год исполнилось всего 12 лет...

– Да. Но еще большее впечатление позднее на меня произвела очередь к маленькой церкви в Донском монастыре, куда люди шли проститься с патриархом Тихоном. Очередь кончалась где – то у Крымского моста.

– Сергей Михайлович, в годы революции Вы были еще моложе, скажите, что запомнилось тогда ребенку 8 – 9 лет? Что тогда произвело на Вас самое сильное впечатление?

– Огромное впечатление произвела на меня гибель дяди, брата моей матери – Михаила Лопухина. Он был одним из участников тайного общества «Союз защиты родины и свободы», которые пытались освободить царскую семью. Заговор был раскрыт из – за доноса одного денщика, дядя арестован, а затем расстрелян. Его обещали помиловать, если отречется от своих убеждений. Но Михаил Лопухин был человеком твердых понятий о чести и благородстве. Горе моей матери было беспредельным.

В то время я упивался книгой о рыцарях Круглого стола. Это переведенное с английского популярное изложение народных сказаний, связанных с именем легендарного короля Артура и его рыцарей. Книга заставила меня о многом задуматься, под ее влиянием я решил совершенствоваться, стать похожим на Ланселота. Рыцари храбры, рыцари вежливы, рыцари терпеливы. Рыцари не ябеды... А мой дядя для меня был тогда (и по сей день остается) настоящим рыцарем Ланселотом.

После известия об уничтожении царской семьи в церкви близ усадьбы, где мы жили, отслужили панихиду. О такой же панихиде в селе Бехове на Оке рассказывал впоследствии друг нашей семьи Д.В. Поленов. Он говорил, что крестьяне тогда плакали. Да, наверное, плакали. По всей стране, во всех церквях тайно и не очень тайно оплакивали мучеников, но и семьдесят лет спустя люди боялись об этом рассказывать или писать в своих воспоминаниях. Правда, буквально недавно первые публикации, проливающие свет на эту трагедию, все же появились.

– Насколько я поняла, вы все (как минимум взрослые члены вашей семьи) уже тогда прекрасно понимали, что происходят события, которые для многих из вас могут закончиться трагически. Чем же объяснить, что ваша семья не захотела уехать за границу?

– Ни у бабушки, ни у дедушки, ни у моих родителей мыслей об отъезде не было. Их родина была здесь. Но мне мать однажды задала вопрос: «Хочешь уехать? Навсегда.» Я ответил решительным «нет»... Как видите, уцелел. А сейчас думаю: за границей потерял бы корни, связь со своей родиной, ну, выбился бы, в лучшем случае, в переводчики ООН и жил без особых тревожений. Спасибо матери, что она не послушалась советов знакомых, хотя и поступила, казалось бы, против здравого смысла. А надеялась она только на силу своей молитвы и Божье милосердие.

– Ну а Вы, Сергей Михайлович, какие у Вас в те годы были ощущения – недоумение, страх?.. Ведь Вы все же были князь, хоть и «бывший»?

– Страх был, конечно, был, но это потом. А в школе, где я тогда учился, бывшей женской Алферовской гимназии, кроме меня и еще были титулованные: граф Ростопчин, князь Кропоткин, князь Гедройц. Так что я не чувствовал себя белой вороной. Да, конечно, надо мной смеялись, карикатуры рисовали: сажу вместо трона на ночном горшке и в короне и длинные ноги вытянул...

– Вы довольно поздно начали печататься, первая книга для детей – «Сорок изыскателей» – вышла лишь в конце пятидесятых. Потом были другие детские книги. И наряду с ними возникла тема – печальная судьба исторических и архитектурных памятников страны. В двух последних книгах – «Сказание о земле Московской» и «Село Любец и его окрестности» – Вы снова возвращаетесь к этому вопросу... Традиционная тема или, в данном случае, выражение определенной позиции?

– Сначала несколько уточнений. Писать прозу я начал еще в юности. Мой брат, художник, иллюстрировавший книги Бориса Житкова, представил меня ему. Я показал свои работы. Житкову они понравились, и он помог их опубликовать в журнале «Чиж», был такой журнал в Ленинграде. С тех пор я писал постоянно и много, правда, нигде больше не публиковался. Но то и дело возникали новые замыслы. И когда путешествовал с другом по российским городам и селам (мы прошли пешком 500 километров), и когда учился на высших Государственных литературных курсах, правда, моя учеба длилась всего два года, ВГЛК вскоре закрыли...

Повесть «Сорок изыскателей» вышла в 1959 году. Я написал ее в противовес скверным приключенческим шпионским книгам, которыми увлекались мои сыновья. Давние друзья нашей семьи Петр Петрович Кончаловский и Наталья Петровна Кончаловская, которую я знал еще с детства, прочитав повесть, сказали: «Уходите с работы и пишите. В случае чего, поможем...» Так началась моя литературная деятельность.

Что же касается памятников старины и моей, как Вы выразились, «позиции», судите сами. Я еще учился в школе, когда с 1926 года прекратилось преподавание истории, зато была введена политграмота. «Настоящая история нашей страны начинается с семнадцатого года», – провозгласил главный идеолог – историк М.Н. Покровский. И началось разрушение старины. В 1930 году правительство уже объявило настоящую войну храмам. Ну, как об этом не писать! Одной из первых жертв стал прекрасный Симонов монастырь. Со всей Москвы отправились комсомольцы разрушать и убирать обломки поверженных зданий. Разгром храмов происходил безо всяких полемик и предварительных разъяснений. Закрывали их один за другим, сперва обносили дощатым забором, потом крючьями стаскивали иконостасы, иконы кололи на дрова...

Мне довелось видеть гибель пятиглавика XVII века – храма Троицы в Зубове, стоявшего на левой стороне Пречистенки. Его шатровая колокольня считалась в Москве самой высокой... Церкви XIX века разрушались «легче», отдельные кирпичи очищали, складывали столбиками.

В углу Красной площади, где был Собор Казанской Божьей Матери, устроили общественную уборную, на месте других строили дома, разбивали чахлые скверы...

Иные люди высокой культуры, казалось бы, должны были любить и ценить русские древности, а на самом деле... Мой брат Владимир, приезжая в Москву, иногда оставался ночевать у кого –нибудь из своих знакомых. Одним из таких знакомых был известный писатель Леонид Леонов, живший тогда на Девичьем поле. Однажды он сказал брату, что сперва возмущался гибелью храмов, а потом осознал: грядет новая эпоха... А тех, кто выступал против вандалов, ждала известная трагическая участь членов существовавшего в те годы в Москве общества «Старая Москва». Вечная им память, радетелям старины, чьи кости лежат в сырой земле Печоры, Урала, Колымы и других подобных мест скорби.

После разгрома общества «Старая Москва» кто ж осмелится бы протестовать? Проходили мимо гибнущих церквей, ужасались и молчали. И я проходил, опустив голову... Что ж, считайте мои книги своего рода покаянием.

– В наше время протестовать – обычное, не слишком опасное дело. Радетелями памятников старины кто только себя не объявляет, та же самая группировка «Память»...

– Это поначалу они как бы «радели», а совсем скоро стали заниматься совсем не этим. Например, во всем, в том числе и в уничтожении памятников стали обвинять евреев. Я категорически это отвергаю и отрицаю. У меня есть фотокопии документов тридцатого года об уничтожении самого красивого в Москве Симонова монастыря. Там по крайней мере 30 человек, подписавших приговор архитектурному ансамблю, из них один еврей, один немец, остальные – русские.

– В свое время, вступаясь за Синявского и Даниэля, Лидия Чуковская написала письмо, в котором была такая фраза: «Дело писателей не преследовать, а вступаться...». А Вам, Сергей Михайлович, когда –нибудь приходилось за кого – то или за что – то вступаться?

– Чтобы вступаться за гонимых крупных писателей я, наверно, был недостаточно смел. К тому же у меня была книга, я обязан был ее закончить. Но вот за музей Корнея Чуковского, действительно, заступался. Мне потом припомнили, как выразились некоторые, «крамольные фразы». Очень хотел познакомиться с Лидией Корнеевной Чуковской. Знал ее только по книгам. Но сказали: она никого не принимает. Когда ее восстановили в Союзе писателей, я послал поздравительное письмо. Ну, думаю, может, теперь она меня позовет. Нет, только поблагодарила ответным письмом.

Но зато много и настойчиво боролся за простых людей. В Ковровском районе Владимирской области, где у меня есть избушка и где я уже тридцать лет пишу свои книги, местное начальство меня недолюбливает. А жители постоянно обращаются за помощью. Об одном таком конфликте я написал хлесткий очерк «Некуликовская битва». Местные газеты не напечатали. Я включил его в свою книгу.

– Воспоминания вы закончили 1941 годом. Продолжение следует?

– Конечно. Оно даже написано, еще в первые послевоенные годы начал писать. Но работа предстоит еще большая. И потому мне обязательно нужно дожить до 2000 года...

P.S. К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Напечатанной книгу «Записки уцелевшего» Сергей Голицын так и не увидел, не успел. Он скончался спустя восемь месяцев после этого разговора.

Владимир Дудинцев: «Три ушата партийной воды.»

В свое время он был «властителем дум». Когда слышалось: «Дудинцев», – все уже знали, о ком речь, ни имени, ни отчества добавлять не требовалось. Его роман «Не хлебом единым», опубликованный в журнале «Новый мир» (1956), дышал теплотой, им зачитывались, восторгалась, негодовали, злобствовали, опровергали... В мире его преподносили как сенсацию. «Белые одежды», другой роман Владимира Дудинцева, обреченный стать знаменитым, был опубликован значительно позднее времени своего написания (1987) и тоже преподнес своему создателю весь спектр хулы и хвалы. Уже через год писатель становится лауреатом Государственной премии СССР. Именно тогда состоялась эта беседа.

– Владимир Дмитриевич, хочу привести одну фразу из романа «Не хлебом единым»: «Кто научился думать, того полностью лишиться свободы нельзя...»

– Это можно рассматривать как вопрос? Тогда я скажу, что у меня своя точка зрения на свободу. Пройдя различные жизненные перипетии, человек, случается, пересматривает некоторые, уже ставшие догматическими, тезисы. Вот, например, я для себя пересмотрел тезис о том, что бытие определяет сознание. Я не буду пока развивать, этот вопрос Вы мне можете задать чуть позже. Я для себя установил понятие свободы и рассматриваю свободу человека как одно из его главных внутренних качеств. Человек качественно свободный свободен всегда, он может решить: пусть я умру, но я совершу поступок. Поэтому у меня в романе к этой идее приходит академик Посошков, который говорит, что человек, который задумал кончить жизнь самоубийством, освобождается от условий бытия, он становится гражданином вселенной, перестает быть подданным своего короля, человеком, подвластным действующим вокруг него законам.

– То есть, если человек качественно свободен, он может, невзирая ни на какие помехи, совершить нечто, что можно обозначить с большой буквы – Открытие, Поступок, имеющий исключительное значение... Значит, таким «гражданином вселенной» стал Александр Фадеев, совершивший Поступок и оставивший предсмертное письмо, в котором говорится о бессмысленности его дальнейшей жизни?

– Мое старое, глубокое, твердо выстраданное убеждение, что Фадеев не с теми людьми дружил и сотрудничал.

– Иначе он не покончил бы с собой?

– Наверное. Не знаю. Фадеев пал жертвой предательства, которое невозможно было вынести человеку интеллигентской закваски и марксистских идей. К тому же его высокопоставленные однопартийцы очень скоро перестали с ним считаться. Я глубоко сочувствовал его страданиям.

– Когда?

– Когда читал его предсмертное письмо.

– Вы уже тогда знали, что оно существует? Ведь это тщательно скрывалось.

– Когда он кончил жизнь самоубийством, о нем объявили, сказали, что Фадеев оказался слабым человеком, жертвой своего алкоголизма... А он был дитя идей, апостол Владимира Ильича. Он был тем легированным сплавом, в котором соединились ленинские идеи, замешанные на марксизме, и ненавистная коммунистам интеллигентская мягкость. И – разочаровался...

– Как Вы думаете, почему письмо – покаяние опубликовали именно сейчас? Лежало оно себе, лежало – в «глубинных архивах политбюро», – и вдруг напечатали...

– Я допускаю, что Кашею Бессмертному, который на этом золотом яйце возлежал, все понимая о своей грядущей смерти, так вот, полагаю ему стало известно, что в письмо уже кто

– то заглянул и переписал текст, что произошла некая осечка, и оно вот – вот самостоятельно появится в одной из тех листовок, которые печатают большими тиражами, а мы покупаем около станций метро.

– Вас тоже всю жизнь не по головке гладили... вас отменно колотили. Но почему – то Вы не поспешили свести счеты с ж и з н ь ю .

– А Вы знаете, что, когда я писал роман «Не хлебом единым», у меня на шее был «красный галстук»?

– ?

– Да – да, я не шучу. Я страстно желал помочь партии в том деле, о котором она объявила на страницах газеты «Правда». Ведь моему роману предшествовала статья, где жесточайшими словами поносился клан бюрократии за то, что они не дают хода новаторам. Эта передовая и была толчком, после которого я сел писать свой роман. Потом я, конечно, получил за все сполна. Мне повезло лишь в том, что я не был членом партии (один комсомольский функционер так и сказал: «Твое, мол, счастье, Дудинцев...»). И то, что Фадеев был партиец, было его величайшее несчастье, за которое он заплатил жизнью. Его несчастьем было, что он согласился стать первым лицом нашей официальной литературы. Но Вы ведь понимаете, выбор на абы кого случайно не падает. Почувствовали: этот человек способен пойти на нужные компромиссы. А ведь писатель был высокоодаренный, поэт в прозе. Я его поэтические интонации всегда чувствую, когда читаю. Правда, там есть и интонационная примесь Толстого, но это дань стихийного преклонения перед интеллигентностью, которое он как идейный коммунист должен был бы ненавидеть. У него было очень много и своих прекрасных интонаций. Но – несчастье попутало, идея связала, начинила голову ортодоксальностью и жестокостью, которая звучит и в романе «Разгром», и она же звучала в его словах, клеймивших с трибуны подчиненных писателей, многие из которых искренне хотели помочь.

– Кому помочь и в чем?

– Советской власти. Вот хотя бы Бабель. Ведь рассказы Бабеля, это что? Вербовка в пользу советской власти. Он воспевает эту армию, восхищается этим народом, который сел на коня, взял в руки шашку и поспешил защищать рубежи наших идей. Я считал поэта Ярослава Смелякова Генрихом Гейне советской власти. Вот хотя бы его стихи «Хорошая девочка Лида»... Там гейнеевские интонации. Он писал всей горячей душой, был предан этому строю. За что получил свои 25 лет. Или поэт Александр Шевцов, мой друг. Еще один, ну, не Гейне, но певец и бард советской власти. Однажды я пришел к нему на Ордынку и увидел на его двери большую восковую печать. Соседи шепотом поведали, что Сашу ночью взяли... А почему бросился с балкона поэт Николай Дементьев, написавший поэму «Новый метод» – гимн, воспевающий партию?..

– За то, что был «качественно несвободен»?.. Или из – за вот этих, скажем, строк: «Обугленный мир малярией горел, / Прибалтики снежный покров / оттаивал кровью, когда на расстрел пошел террорист Гумилев. / Гудели морозы, когда в ледниках, / Под женин и тетушкин плач, / скользил на седых волкодавах в снега / к Полярному кругу НЭПач. / Так падали пасынки нашей поры, / но каждый ребенок поймет: / романтику мы не ссылали в Нарым, / её не пускали в расход...»

– Да... А вот, скажем, Вавилов. Кругом была такая обстоятельная несвобода, а он качественно свободен: на костер, мол, пойдем, но не отступим от своего научного убеждения. Но дай человеку несвободному внешнюю обстоятельную свободу, он все равно для себя придумает обстоятельства, которые ему не позволят совершить Поступок.

Мне в свое время так хотелось написать роман «Не хлебом единым», такую я чувствовал обязанность перед униженными и оскорбленными людьми дать им хоть маленький лучик света (роман впоследствии оценили, я получил много подтверждений тому, что не зря его писал). Так вот, я быстро понял, что к чему. Когда работал над романом, уже смертельно боялся, что

узнают, что я пишу, какой собираю материал. Тогда еще был жив Сталин. Я боялся, но выработал некий шифр для записей своих мыслей, придумал способ сокрытия своих первых записей. Я был уже качественно свободен. Потом меня «поколотили», сильно и беспощадно, напомнили, что обстоятельственно – то я совершенно не свободен. В КГБ вызывали, допрашивали под гипнозом и без, приставили постоянного соглядатая. Конечно, был страх, живой, хорошенький страх. Но в то же время этот страх был парализован моей внутренней свободой. Она давала о себе знать в форме любопытства. Я с восторгом наблюдал своих следователей и запоминал каждый штрих, а прибежав домой, скорей записывал впечатления. Кто научился думать, того полностью лишить свободы нельзя... Кто научился искать истину, размышлять, ставить себе вопросы типа «истинно ли то, что передо мной происходит?» – тот свободен. Вот и Иоанн Евангелист сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Познавший истину человек начинает оценивать людей, с которыми сталкивается, доктрины, которые ему навязывают, фальшивые и подлинные.

– «Жало мудрия змеи» необходимо свободному человеку.

Однажды меня вызвал к себе член Президиума ЦК КПСС Михайлов, тогда было не Политбюро, а Президиум и предложил мне отречься от романа «Не хлебом единым». Сказал: «Даю тебе четыре полосы в газете «Советская культура», чтобы ты публично осознал критику, которую высказал в твой адрес Никита Сергеевич, и – покайся»... Когда я отказался, отстал на меня оратор: «Был бы ты членом партии, вылили бы мы тебе на голову три ушата партийной воды», – и в конце концов выгнал из кабинета. Я, конечно, вышел. Побитый.

– Но ведь пережили!

– Но ведь пережил. В свое время я пережил и сильную контузию. На фронте бомбой бабахнуло. Долго после этого не мог разговаривать. А спустя годы с таким волнением писал «Белые одежды», что все кончилось инсультом, потом инфарктом... «Над вымыслом слезами обольюсь»! А я ревел белугой, когда писал...

– Ваши «Белые одежды» были еще большей крамолой даже для перестроечных времен, чем в свое время «Не хлебом единым». Говорят, что главному редактору журнала «Нева» Борису Никольскому чуть ли не к Горбачеву пришлось обращаться за разрешением опубликовать роман, над которым Вы, как утверждаете, «ревели белугой»... Но давайте вернемся к бытию и сознанию, Вы обещали ответить...

– Я считаю, что человеческое сознание можно уподобить витязю на распутье, стоящему перед бел – горючим камнем, на котором написано: налево пойдешь – жену найдешь, направо пойдешь – богатство найдешь, прямо пойдешь – смерть найдешь. Бел – горючий камень – бытие. Оно, конечно, свою роль в становлении сознания играет, но эта роль не определяющая, ибо витязь сам решает, куда ему идти, направо, налево или прямо. И тайна его решения заключена в его внутренней свободе, в степени его приближения к познанию истины. Говорят, что человеческое сознание детерминировано. Все, что бы человек ни сделал, обязательно вписывается в какую – то причинную связь. На мой взгляд, эта точка зрения механистическая. В этой цепи причин я, свободный, выбираю звено, которое мне нужно, и при помощи такого выбора формирую свои решения и свои поступки.

В свое время мне на голову не раз выливали по «три ушата партийной воды». И одним из таких «выливающих» был Александр Фадеев, жесткий руководитель и суровый человек. Я уже говорил: мое счастье, что я не был коммунистом, потому что, если бы я им был, может статься, был бы коммунистом последовательным, идейным и глубоко верующим. И тогда, терпя эти «полоскания в партийной воде» и разочаровавшись, мне бы тоже пришлось принимать какие – то серьезные решения относительно моей собственной судьбы.

– И как же Вам удавалось обычно «выкручиваться» из подобных ситуаций?

– У меня есть метода, которую я Вам сейчас попробую теоретически изложить: если переносить член уравнения на другую сторону, он меняет знак. С противником, нравственное

лицо которого мне чуждо, я имею право воевать с помощью его же оружия. А партия коммунистов постоянно что – то очень плохое делала с людьми, которые хотели ей помочь, или, по крайней мере, активно не мешали. Именно партия в лице первого секретаря СП СССР А.А. Суркова организовала травлю Бориса Пастернака за роман «Доктор Живаго» и изгнание его из своих рядов. Не скажу, что роман этот мне нравится. Он – бесстрастный. В нем, на мой вкус, вообще нет страстей, которые бы могли испугать, которые обладали бы способностью кого – то «завербовать», «перевербовать» и перетянуть на сторону противников партии. Но это – приличный, добротный роман, написанный старым поэтом, пробующим себя в прозе. Он «не портил пейзажа» нашей советской литературы.

Сурков со товарищи выкручивали руки всем, понимаете, всем, они буквально изнасиловали многих наших писателей, заставили их клеймить «отщепенца» Пастернака, и со мной пытались сие проделать, чтобы и я – среди прочих – выступил на общем собрании с осуждающей речью.

Тут Дудинцев хитро прищурился:

– Ирина, а можем мы с Вами в этом месте разговора добавить малюсенькую краску?

– Можем, конечно, можем, – осторожно ответила я, чуя подвох.

– Представьте себе картинку: после смерти А.А. Фадеева руководить писательским союзом стал А.А. Сурков. И как – то захожу я в уборную Московского отделения СП и вижу на стене чудный такой текст: «Был А.А. – стал А.А., все равно – одно а – а!»...

Так вот. Вызвал меня к себе Сурков и говорит: «Вы же понимаете, Владимир Дмитриевич, Пастернак перешел литературную границу Советского Союза, передав *туда* свой роман!.. А знаете ли, что он ссылается на Вас и толкает в яму впереди себя!» И тычет мне письмо Пастернака в Президиум правления СП СССР: «Читайте, читайте, как он Вас предает: «...Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные «Доктору Живаго». Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания. Я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но все же напомним, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в наши редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий...».

Выступите, Дудинцев, это Ваш долг! Вы что же, трус?».

Я, следуя своей методе, улыбнулся ему и ответил: «Да, конечно. Иду домой писать речь»...

А едва вошел в дом, звонит мой товарищ, коллега – писатель, член партии (Вы слушайте, слушайте, Ирина, что они делали, как они все, не боюсь этого слова, провоняли!) и говорит: «Привет, я слышал, ты собираешься выступать на обсуждении Пастернака? Слушай, старик, ум хорошо, а два – лучше. Можно, старина, я сейчас к тебе приеду и помогу?»... Ну что, интересное у нас с Вами интервью?..

– Интересное. И кто это был?

– Я не могу...

– Вы не хотите называть его имя?

– Называть не хочу. Мне его жалко. Сейчас он – член «Апреля». Простите, но я – тот интеллигент, которого публично так не любил Фадеев. Достаточно, что человек этот прочитает наше с Вами интервью. Да, этого достаточно... Ну, вот, приезжает этот маленький человечек, такая копия Иуды, и я, следуя своей интуиции и формуле о перенесении члена уравнения в другую сторону, начинаю «в бешенстве» ходить по своему кабинету. Трясу руками, захлебываюсь от ярости и говорю, говорю...

Он: «А можно почитать, что ты там написал?»

Я: «Нет, еще не написал. Но я напишу. И дам прочитать Суркову. А вот скажу я совершенно другое!» И я затрясся, завизжал (интуиция подсказала тот страшный визг, он, поверьте, был весьма правдоподобен): «В действительности же... я скажу... и Сафронову, который меня назвал однажды «врагом народа», я скажу ему, что у меня отверстий от фашистских ран на теле намного больше, чем у него естественных отверстий... Еще Суркову что –нибудь обязательно скажу... Они узнают... как... вербовать...».

«Друг» кинулся успокаивать: «Тише, Володя, тише. Напишешь, потом спокойно отнесешь Суркову...» Я подготовил письмо, и в день собрания одним из первых записался на выступление. Подошел к Суркову и говорю: «Вот моя речь, может, ознакомитесь?». Он: «Зачем, мы речей не читаем. Запишитесь и выступайте!» Я отправился в зал, сел в одном из рядов, а позади меня устроилась поэтесса Надежда Александровна Павлович, она мне была как приемная мать. Она меня очень полюбила, заботилась о моей семье, детишек моих называла своими внуками, а меня – сыном. Павлович была верующая и молилась за меня в церкви. Села она за мной и тихо так спрашивает: «Сыночек, ты хочешь выступить против Пастернака?» «Нет, – отвечаю, – я собираюсь ему сочувствовать...» «Я, – говорит Павлович, – ходила в церковь и поставила свечку за тебя Трифону...». А Трифон, чтоб Вы знали, – это тот святой, которого люди, вступающие в партию корысти ради, просят о помощи в получении ордера на автомобиль, квартиры или поездок за рубеж... Такой вот меркантильный святой. «Я, – продолжает Надежда Александровна, – и сейчас сижу и молюсь, чтобы тебя избавили от тяжелого испытания»...

И Трифон меня избавил.

– Опять формула сработала?

– Стенограмма этого собрания опубликована. Но я расскажу своими словами. На собрании успели выступить многие: кто с удовольствием, кто по принуждению. А потом С.С. Смирнов, председательствующий, заявил, что пора подводить черту. С мест стали требовать, чтобы речи продолжились. И вот смотрите, что он сделал, какой у них, у начальствующих, был почерк. И оценивайте мою формулу, Ирина, оценивайте! Смирнов, умный лицемер, умный вожак, знающий, как загнать свою паству в стойло, сказал: «Товарищи, я сейчас вам зачитаю оставшийся список записавшихся». И зачитал – там было 35 человек. Из зала кричат: «Дудинцева давайте!». Смирнов: «Почему Дудинцева отдельно? Тогда всем нужно давать слово!». Из зала одни кричат: «Подвести черту!...» Другие: «Дудинцева!». Председательствующий выставил на голосование три предложения: «дать выступить всем записавшимся», «дать слово Дудинцеву» и «подвести черту». За первое предложение был не весь зал, но половина – точно. «Так, – говорит Сергей Сергеевич, кто за то, чтобы выступил Дудинцев?». Все дружно поднимают руки. «Хорошо». «Кто за то, чтобы подвести черту?» Рук – половина зала. «Товарищи, – говорит Смирнов, – большинство за то, чтобы подвести черту. Собрание...» И все дружно хохочут.

Надежда Александровна шепчет: «Трифон помог, слава тебе, Господи!». А я еще и еще раз поразился своему чутью: ведь когда я сказал Суркову, что выступлю, я, к сожалению, наперед знал, что события будут развиваться именно таким образом...».

– Знаю, что потом в Вашей жизни было еще немало драматических ситуаций...

– В следующий раз, если Вам захочется меня слушать и записать, расскажу немало романтических историй, чудесных новелл о том, как я жил между романами «Не хлебом единым» и «Белыми одеждами». Как нищенствовал, как мы с семьей голодали, как мои друзья и читатели поддерживали меня и мою семью, присылали продуктовые посылки, сберкнижки «на предьявителя»... У меня много таких памятных историй.

– А были замыслы, которые не удалось воплотить – по тем или иным причинам, – но о которых Вы до сих пор думаете, которые Вас, скажем так, гложут?

– Нет, таких замыслов не было. Я Вам приоткрою уголок моей творческой лаборатории. Если за мной сегодня наблюдать, то можно подумать, что, кроме бесконечных интервью, я ничего не делаю, бездельничаю. И я действительно проветриваю после романа «Белые одежды» мозги, усталость все еще сильна. Но во мне сидит эта вечная (ewige) тема. И я все время ловлю себя на том, что, разговаривая с людьми, листая газеты, давая интервью, постоянно действую как датчик для обнаружения вот этих проявлений добра и зла. Я пока ищу, во мне еще не оформилась будущая книга. Записано много фрагментов, о которых я пока не могу сказать, во что они выльются. Но все они относятся к этой же вечной теме, она неисчерпаема, как неисчерпаема человеческая судьба.

Мне интересно противоборство, я, конечно, понимаю, что в человеке ни одна из этих сил не занимает всего пространства, каждая занимает именно свое место, но на вторую смотрит, как на врага. Но, понимаете ли, Ирина, когда изнутри человека борьба выносится наружу, тогда начинается битва между людьми, и в ней участвуют бойцы по обе стороны фронта, люди, которые для себя уже решили, кто они такие и на чьей стороне. Для меня именно эта война представляет особый интерес. Хотя и тут в процессе главной схватки, когда дело клонится к чье – то победе, вдруг в том или ином участнике борьбы начинается особенно сильное внутреннее брение. Он думает: а не взять ли мне сторону моего противника, не притвориться ли, не укрыться ли в кусты? Вот вам огромный спектр нравственных решений. Это все очень интересно, и, конечно, я от этого не отстану. Более того, я очень доволен, что сегодня мы с вами беседуем на эту тему и что скатились именно в тот угол темы, где можем наблюдать отношения людей к этой битве на разных стадиях. Почему еще я дорожу этим интервью? Потому что в процессе отбора слов и рафинирования фраз обдумываю и делаю для себя даже какие – то небольшие открытия. Вы уйдете – я кинусь к столу их записывать.

Валентина Мухина–Петринская. Кислый виноград

«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» в 1990 году меня отправил один из самых главных тогдашних союз-писательских начальников Сергей Владимирович Михалков, он же – «Дядя Степа», как между собой за глаза (и в глаза тоже) называли величавого автора знаменитой детской книжки и не менее знаменитого «извечного» гимна. В перерыве одного писательского заседания, который по долгу службы я должна была «освещать», подошел и пророкотал, слегка заикаясь: «Поезжай! Напиши о ней. Ну очень нужно помочь человеку!»... Когда в тот день вернулась в «Литгазету», моя командировка уже была подписана и оформлена должным образом.

О Мухиной – Петринской, признаюсь, я не знала ничего, даже слухом не слыхивала. А познакомившись накануне поездки с ее произведениями, подумала, что жизнь этой женщины, должно быть, очень хорошая, безоблачная. Иначе откуда такие книги? Такие яркие романтически – положительные герои с запоминающимися именами: Гарри Боцманов, профессор Кучеринер...

Когда в 1956 году началась всесоюзная литературная травля Владимира Дудинцева и его романа «Не хлебом единым», начальники разных рангов во многих городах страны, дабы соответствовать времени, отыскивали и своих, местных «дудинцевых», как бы рапортуя: мы, мол, тоже не лыком шиты! На предприятиях и в учреждениях шли собрания, где трудящиеся гневно клеймили этих писателей – отщепенцев.

И Саратовский обком партии с помощью местного отделения Союза писателей также выставил свою кандидатуру – Валентину Михайловну Мухину – Петринскую. А в книжных магазинах города неожиданно возник спрос на книги ... Мухиной – Петринской. Растерянные продавцы отвечали особенно назойливым книгочеям, что уже справлялись по этому вопросу в Книготорге, ни таких книг, ни такого писателя вообще нет. Книг у нее действительно не было. Лишь несколько вещей, опубликованных аж 18 лет назад в местной периодике. И официально членом Союза писателей она тоже не числилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.